

interaction

интеракция

interview

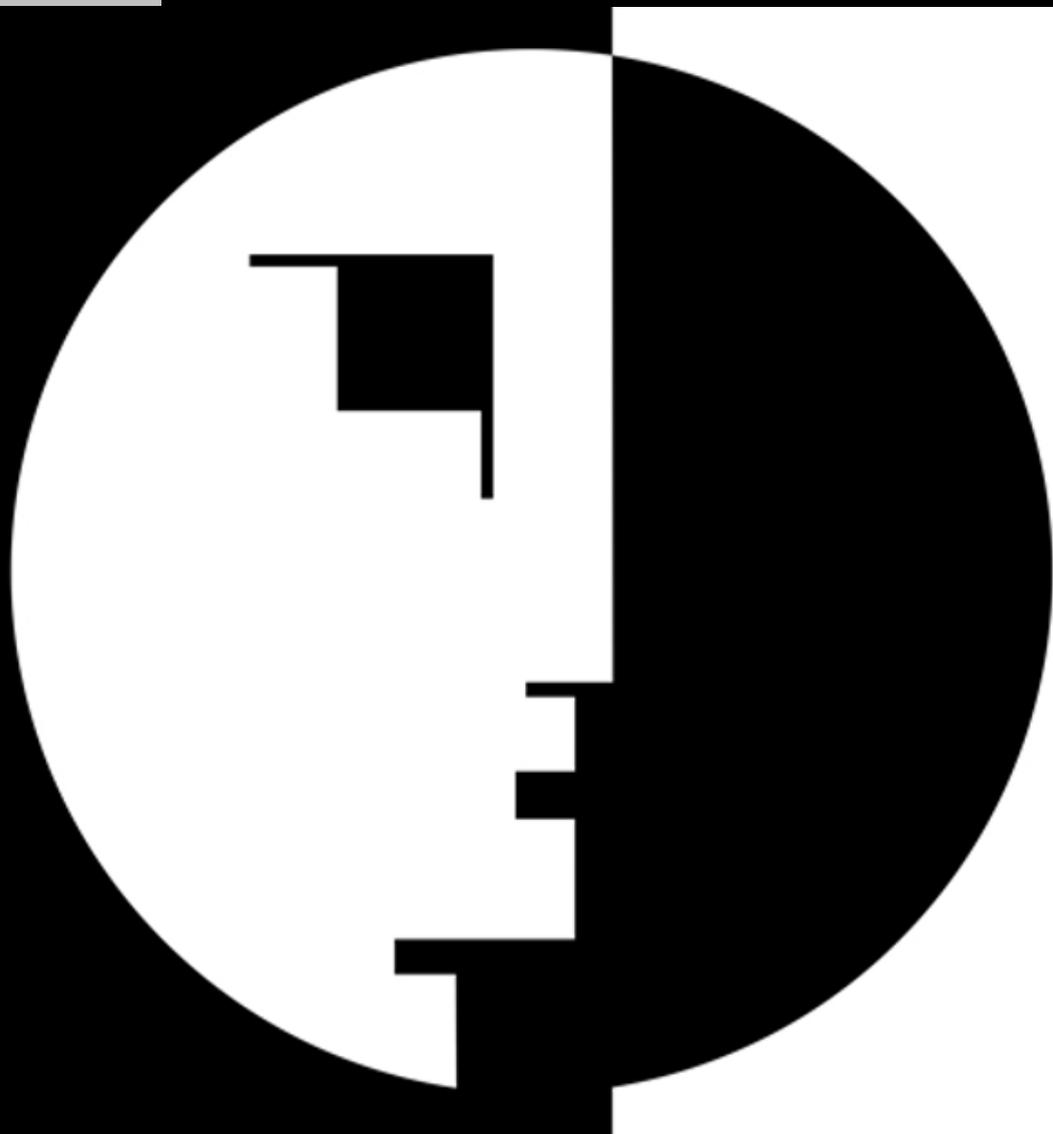
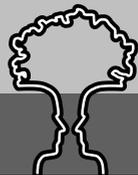
интервью

interpretation

интерпретация

INTER

3' 2025





Федеральный научно-исследовательский
социологический центр
Российской академии наук (ФНИСЦ РАН)
Российское общество социологов (РОС)

Интеракция. Интервью. Интерпретация
2025. Том 17. № 3
Interaction. Interview. Interpretation
2025. Volume 17. No. 3

ISSN (Online) 2687-0401

СЕТЕВОЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 2002 г.

Выходит 4 раза в год

2025. Том 17. № 3

DOI: 10.19181/inter.2025.17.3

EDN: PNEGJU

Учредители	Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук (ФНИСЦ РАН) Российское общество социологов (РОС)
Издатель	Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ИС ФНИСЦ РАН)
Главный редактор	В. В. Семенова
Редакция	А. В. Ваньке Е. Ю. Рождественская А. В. Стрельникова И. Н. Тартаковская
Технический редактор	О. Н. Салангина
Компьютерная верстка	В. Е. Кудымов
Корректор	А. Н. Кокарева

Журнал включен в базу [РИНЦ](#), перечень ВАК,
индексируется в международной базе данных RSCI.

Журнал входит в [Перечень](#) ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.

Журнал открытого доступа.

Доступ к контенту журнала бесплатный.

Плата за публикацию с авторов не взимается.



Контент доступен по лицензии
[Creative Commons Attribution 4.0 International Public License](#)

Все выпуски журнала размещаются в открытом доступе
на официальном сайте журнала с момента публикации: <https://www.inter-fnisc.ru/>

Информация к обложке

<http://ru.pinterest.com/pin/1407443625537269/>

Автор коллажа Andrei Caciuleanu



9 772687 040006 >

© Интеракция. Интервью. Интерпретация, 2025
© Interaction. Interview. Interpretation, 2025

Редакционная коллегия

Главный редактор

СЕМЕНОВА Виктория Владимировна — доктор социологических наук, профессор, Государственный академический университет гуманитарных наук; главный научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), victoria-sem@yandex.ru

Редакция

ВАНЬКЕ Александрина Владимировна — кандидат социологических наук, доктор философии, старший научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), vanke@inbox.ru

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Елена Юрьевна — доктор социологических наук, профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; ведущий научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), rigasvaverite@gmail.com

СТРЕЛЬНИКОВА Анна Владимировна — кандидат социологических наук, доцент, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; старший научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), astrelnikova@hse.ru

ТАРТАКОВСКАЯ Ирина Наумовна — кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), I_Tartakovskaya@yahoo.com

Редакционная коллегия

АБРАМОВ Роман Николаевич — доктор социологических наук, профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; ведущий научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), rabramov@hse.ru

БРЕКНЕР Розвита — доктор философии, доцент, Университет Вены (Вена, Австрия), roswitha.breckner@univie.ac.at

ВАНЬКЕ Александрина Владимировна — кандидат социологических наук, доктор философии, старший научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), vanke@inbox.ru

ДЭВИС Кэти — доктор философии, профессор, Амстердамский свободный университет (Амстердам, Нидерланды), k.e.davis@vu.nl

ИНОВЛОКИ Лена — доктор философии, профессор, Франкфуртский университет прикладных наук (Франкфурт-на-Майне, Германия), linowlocki@fb4.fra-uas.de

КОЗИНА Ирина Марковна — кандидат социологических наук, ординарный профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, Россия), ikozina@hse.ru

КОСЕЛА Кшиштоф — доктор социологических наук, профессор, Варшавский университет (Варшава, Польша), k.kosela@is.uw.edu.pl

ОМЕЛЬЧЕНКО Елена Леонидовна — доктор социологических наук, профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, Россия), omelchenkoe@mail.ru

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Елена Юрьевна — доктор социологических наук, профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; ведущий научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), rigasvaverite@gmail.com

СЕМЕНОВА Виктория Владимировна — доктор социологических наук, профессор, Государственный академический университет гуманитарных наук; главный научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), victoria-sem@yandex.ru

- СТРЕЛЬНИКОВА Анна Владимировна** — кандидат социологических наук, доцент, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; старший научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), astrelnikova@hse.ru
- СУШКО Павел Евгеньевич** — кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), sushkope@mail.ru
- ТАРТАКОВСКАЯ Ирина Наумовна** — кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), I_Tartakovskaya@yahoo.com
- ЧЕРНОВА Жанна Владимировна** — доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник СИ РАН — филиал ФНИСЦ РАН (Санкт-Петербург, Россия), chernova30@mail.ru
- ЧЕРНЫШ Михаил Федорович** — член-корреспондент РАН, доктор социологических наук, директор, ФНИСЦ РАН (Москва, Россия), mfche@yandex.ru
- ЧЕРНЯЕВА Татьяна Ивановна** — доктор социологических наук, профессор, Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы (Саратов, Россия), tatcher@yandex.ru
- ЯРСКАЯ-СМИРНОВА Елена Ростиславовна** — доктор социологических наук, ординарный профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, Россия), eiarskaia@hse.ru

Editorial board

Editor-in-Chief

Victoria V. SEMENOVA — Doctor of Sociology, Professor, State Academic University for the Humanities; chief researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), victoria-sem@yandex.ru

Editorial Team

Elena Yu. ROZHDESTVENSKAYA — Doctor of Sociology, Professor, National Research University Higher School of Economics; Leading researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), rigasvaverite@gmail.com

Anna V. STRELNIKOVA — Candidate of Sociology, Associate professor, National Research University Higher School of Economics; Senior researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), astrelnikova@hse.ru

Irina N. TARTAKOVSKAYA — Candidate of Sociology, Senior researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), I_Tartakovskaya@yahoo.com

Alexandrina V. VANKE — Candidate of Sociology, Doctor of Philosophy, Senior Researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), vanke@inbox.ru

Editorial Board

Roman N. ABRAMOV — Doctor of Sociology, Professor, National Research University Higher School of Economics; Leading researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), rabramov@hse.ru

Roswitha BRECKNER — PhD, Associate Professor, University of Vienna (Vienna, Austria), roswitha.breckner@univie.ac.at

Zhanna V. CHERNOVA — Doctor of Sociology, Leading researcher, SI RAS — FCTAS RAS (St. Petersburg, Russia), chernova30@mail.ru

Tatiana I. CHERNYAEVA — Doctor of Sociology, Professor, Povolzhsky Institute of Management named after P.A. Stolypin — the branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Saratov, Russia), tatcher@yandex.ru

Michael F. CHERNYSH — Corresponding Member, Doctor of Sociology, Director, FCTAS RAS (Moscow, Russia), mfche@yandex.ru

Kathy DAVIS — PhD, Professor, Free University Amsterdam (Amsterdam, Netherlands), k.e.davis@vu.nl

Elena R. IARSKAIA-SMIRNOVA — Doctor of Sociology, Tenured Professor, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia), eiarskaia@hse.ru

Lena INOWLOCKI — PhD, Professor, Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt-am-Main, Germany), linowlocki@fb4.fra-uas.de

Krzysztof KOSELA — Doctor of Sociology, Professor, University of Warsaw (Warsaw, Poland), k.kosela@is.uw.edu.pl

Irina M. KOZINA — Candidate of Sociology, Tenured Professor, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia), ikozina@hse.ru

Elena L. OMELCHENKO — Doctor of Sociology, Professor, National Research University Higher School of Economics in St. Petersburg (St. Petersburg, Russia), omelchenkoe@mail.ru

Victoria V. SEMENOVA — Doctor of Sociology, Professor, State Academic University for the Humanities; chief researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), victoria-sem@yandex.ru

Pavel E. SUSHKO — Candidate of Sociology, Leading researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), sushkope@mail.ru

Elena Yu. ROZHDESTVENSKAYA — Doctor of Sociology, Professor, National Research University Higher School of Economics; Leading researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), rigasvaverite@gmail.com

- [Anna V. STRELNIKOVA](#) — Candidate of Sociology, Associate professor, National Research University Higher School of Economics; Senior researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), astrelnikova@hse.ru
- [Irina N. TARTAKOVSKAYA](#) — Candidate of Sociology, Senior researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), I_Tartakovskaya@yahoo.com
- [Alexandrina V. VANKE](#) — Candidate of Sociology, Doctor of Philosophy, Senior Researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), vanke@inbox.ru

Содержание

Письмо редактора	9
Память и идентичность	11
<i>Егор Варфоломеев</i> Тема голода 1932–1933 годов в документальном кинематографе Республики Казахстан: анализ соперничающих нарративов	11
Полевые исследования	35
<i>Анастасия Казун</i> «Очернить светлое и чистое, обелить темное и грязное»: представления россиян о потенциальных рисках фейковых новостей	35
<i>Александр Рязанцев</i> Литературная репутация в современном литературном поле: взгляд критиков	55
Исследовательская рефлексия	79
<i>Елизавета Балацук, Даниил Володин</i> Проницаемые границы исследовательской субъектности в религиозном поле	79
ИНТЕР-энциклопедия качественных методов	96
<i>Анастасия Моисеева, Елена Рождественская</i> Дневниковый метод в социологии	96

Contents

Editor's Letter	9
Memory and Identity	11
<i>Egor Varfolomeev</i> The 1932-1933 Famine in the Documentary Cinema of the Republic of Kazakhstan: An Analysis of Competing Narratives	11
Field Research	35
<i>Anastasia Kazun</i> “To Tarnish the Pure and Illuminate the Tainted”: Russian Perceptions of the Potential Risks of Fake News	35
<i>Alexander Ryazancev</i> Literary Reputation in the Modern Literary Field: The Critic's View	55
Researcher's Reflection	79
<i>Elizaveta Balatsyuk, Daniil Volodin</i> The Permeable Boundaries of Research Subjectivity in the Religious Field	79
INTER-Encyclopedia	96
<i>Anastasiya Moiseeva, Elena Rozhdestvenskaya</i> Diary Method in Sociology	96



Письмо редактора

Так совпало, что последние месяцы, прошедшие со времени выпуска предыдущего номера журнала, оказались богатыми на события в нашей редакционной жизни. За это время журнал вошел в ядро РИНЦ и стал цитируемым в базе RSCI, что ознаменовало итог длительного пути, перехода из статуса сугубо инициативного издания в формально-признанный. Это стало важной вехой в институционализации как самого нашего журнала, так и всего направления качественной социологии.

Кроме формального признания этот период ознаменовался также солидными юбилеями людей, причастных к изданию ИНТЕРа.

Мы отмечали юбилей заместителя главного редактора журнала, незаменимого вдохновителя и участника нашей редакционной жизни в самых разных ипостасях (от кропотливой работы с молодыми авторами до выбора обложки), нашей дорогой коллеги — Елены Юрьевны Рождественской. Это хороший повод выразить ей глубокую благодарность редакционного коллектива (и, надеюсь, также авторов и читателей) и высказать самые теплые слова признательности за многолетний активный вклад в работу редакционного коллектива и надежду, что и в дальнейшем мы будем вместе укреплять и совершенствовать наш журнал.

Мы также поздравляли с юбилеем члена редколлегии журнала уважаемого Михаила Федоровича Черныша, многолетнего нашего соратника, при поддержке которого журнал развивался и в настоящее время продолжает жить, и кто делал и делает многое для его сохранения.

Теперьшний номер журнала собрал под своей обложкой результаты творческих поисков в основном молодых авторов в самых разнообразных сферах социальной жизни — от документального кинематографа, поля литературной критики, религиозных сообществ до современного состояния средств массовой информации и проблемы фейк-новостей. Статьи разнообразны по жанру и подходам авторов, но есть один ракурс, который их объединяет — это рефлексия о способах формирования и проявления субъектности социальных акторов, будь то коллективные акторы или отдельные индивиды или даже субъектность самого исследователя при полевой работе со сложными социальными реалиями.

Так, в открывающей номер статье Е. Варфоломеева тема травматического прошлого представлена с точки зрения носителей двух разных моделей социальной памяти, которые посредством документального кинематографа презентуют два разных нарратива о голоде в Казахстане в 30-е годы, что является воплощением принципиально разных социальных субъектностей — двух социальных акторов, конкурирующих в борьбе за влияние на массовую аудиторию.

В статье А. Казун, где автор обращается к анализу потенциальных угроз фейк-новостей, респонденты, наряду с другими возможными угрозами недостоверной информации, отмечают опасность для потребителей такого контента утратить свою агентность. Автор фиксирует, что новостные фейки могут быть оружием, способом формирования управляемого поведения, что ведет к утрате критического мышления и тогда жертвы фейков воспринимаются окружающими как лишенные своей субъектности и неосознанно действующие в интересах определенных групп, противостоящих интересам общества.

В статье Е. Балацук и Д. Володина, ориентированной на анализ субъектности самого социолога-этнографа, работающего в сложном поле религиозных сообществ, субъектность, понимаемая как способность исследовательского «я» быть гибким, адаптироваться к различным жизненным мирам и соответствующим им когнитивным стилям, даже если они не соответствуют собственным ценностям исследователя, рассматривается с точки зрения способов и путей возврата исследователя к исходному жизненному миру и когнитивному стилю науки, которую он представляет.

В традиционной нашей рубрике ИНТЕР-энциклопедия авторы А. Моисеева и Е. Рождественская добавляют к нашей энциклопедии еще одну страницу — представляют дневниковый метод и рассуждают о его эвристическом потенциале как стандартной технике и как источнике личностной информации. И здесь авторы опять возвращаются к проблематике субъектности: фиксируя ценность дневниковых записей, авторы отмечают, что человек, заполняющий или ведущий дневник, обладает чувствительностью к определенной теме и темпоральной вовлеченностью в определенные реалии в течение длительного периода времени, что воспроизводит субъектность первичной инстанции, личности автора.

И, наконец, А. Рязанцев поднимает вопрос о том, из чего складывается репутация литератора в современном мире? Только ли из его литературных текстов или же из ряда других влияющих факторов, в том числе таких, как медийный образ и скандалы?

Ориентация на проблематику субъектности является одним из приоритетов нашего журнала, и она неслучайно присутствует в статьях этого номера, обращенных к содержательно столь различной тематике и, тем самым, продолжает традицию.

Желаю продуктивного чтения,

редактор номера,
В. В. Семенова

Память и идентичность



DOI: 10.19181/inter.2025.17.3.1
EDN: ХОЕНАУ

Тема голода 1932–1933 годов в документальном кинематографе Республики Казахстан: анализ соперничающих нарративов¹

Ссылка для цитирования:

Варфоломеев Е. А. Тема голода 1932–1933 годов в документальном кинематографе Республики Казахстан: анализ соперничающих нарративов // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2025. Т. 17. № 3. С. 11–34. <https://doi.org/10.19181/inter.2025.17.3.1> EDN: ХОЕНАУ

For citation:

Varfolomeev E. A. (2025) The 1932–1933 Famine in the Documentary Cinema of the Republic of Kazakhstan: An Analysis of Competing Narratives. *Interaction. Interview. Interpretation*, Vol. 17. No. 3. P. 11–34. <https://doi.org/10.19181/inter.2025.17.3.1>



Варфоломеев Егор Алексеевич

Национальный исследовательский институт
«Высшая школа экономики»,
Москва, Россия

E-mail: egor_varf@mail.ru

Статья посвящена анализу конкурирующих нарративов о голоде 1932–1933 годов в Казахстане, которые продвигаются разными мнемоническими акторами через документальный кинематограф. Цель работы — выявить различия в репрезентации этой исторической травмы путем сравнения двух фильмов — «Ашаршылык» и «Зулмат». Автор проводит нарративный анализ, рассматривая тематический репертуар, техники повествования, визуальные стратегии, а также осуществляет анализ откликов аудитории на основе комментариев пользователей YouTube. Исследование демонстрирует как общие элементы, так и принципиальные расхождения в кинематографических интерпретациях данного исторического факта, отражающие идеологические и историографические противоречия и позиции отдельных акторов. В результате делается вывод, что документальное кино может служить значимым инструментом в борьбе за коллективную память,

¹ Исследование проводилось при финансовой поддержке факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

а анализ зрительских реакций позволяет выявлять актуальные тенденции в восприятии этого трагического события.

Ключевые слова: Республика Казахстан; политика памяти; политическое использование прошлого; нарративы; голод 1932–1933 годов; документальный кинематограф

Введение

Коллективные представления о прошлом — важный инструмент нациестроительства [Малинова, 2018]. После распада СССР все бывшие союзные республики обращались к коллективной памяти как ключевому инструменту достижения этой цели [Finkel, 2010]. Новые власти в условиях гласности, иногда формальной, столкнулись с гетерогенностью представлений о прошлом внутри сообществ, несмотря на длительный период существования единого советского исторического метанарратива [Gill, 2011]. Коллективные представления о прошлом часто становились объектом борьбы различных мнемонических акторов, стремящихся к доминирующему положению своего нарратива [Rutland, 2023]. Таким образом, сложилась ситуация, когда официальный исторический нарратив на разных уровнях подвергался критике со стороны конкурирующих мнемонических акторов. Не стал исключением и Казахстан.

Голод 1930-х годов, ставший, по мнению части исследователей, непреднамеренным итогом советской политики коллективизации, затронул значительную часть СССР. Наиболее трагическим образом он разворачивался на территориях современных Казахстана, России и Украины, число жертв голода оценивается в миллионы человек [Pianciola, 2001; Ohayon, 2004; Кондрашин, 2018; Киндлер, 2017; Cameron, 2018]. Как отмечают исследователи, стремление форсировать начавшуюся в конце 1920-х годов массовую коллективизацию крестьянских хозяйств, направленную на ликвидацию частного землевладения, а также желание местных властей приукрасить реальные достижения перед центральными властями привели к излишнему изъятию запасов хлеба у крестьян и дефициту продовольствия, что привело к началу голода, усугубленного несколькими последующими годами засухи и неурожая [Кондрашин, 2018; Cameron, 2018].

Иной позиции придерживается другая часть историков, которая предлагает интерпретировать голод 1930-х годов в Казахстане не как трагическое последствие коллективизации, но как преднамеренное действие советских властей, направленное на геноцид казахов [Михайлов, 1996; Омарбеков, 2011]. Геноцид, вслед за предложенным Лемкиным в 1948 году определением, воспринимается ими как координированные действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы, включающее в себя физическое уничтожение, а также действия, направленные на разрушение культурной и социальной структуры группы [Weiss-Wendt, 2005].



Осмысление этого трудного прошлого в советский период истории было невозможно, и только с конца 1980-х годов в рамках публичных дебатов об устранении белых пятен тема голода стала доступной для обсуждения [Абылхожин, Акулов, Цай, 2019]. В конце 1980-х — начале 1990-х годов голод 1930-х стал активно обсуждаться как в прессе, так и в дискуссиях историков. Так начал формироваться новый режим памяти о голоде в разных республиках тогда еще Советского Союза.

В последнее десятилетие исследования политики памяти в Казахстане стали набирать обороты [Абылхожин, Акулов, Цай, 2019]. Появились как работы, описывающие исследовательское поле и задающие исследовательскую рамку [Медеуова, Сандыбаева, Наурзбаева et al., 2017], так и работы, анализирующие отдельные аспекты политики памяти в Казахстане, в частности, отражение советского периода в нарративе правящих казахстанских элит [Галиев, 2016; Абылхожин, Акулов, Цай, 2019, Dukeyev, 2023].

Однако до 2012 года для Н. А. Назарбаева и его сторонников тема голода не входила в репертуар актуального прошлого и чаще игнорировалась, большую активность в вопросе формирования нарратива о голоде проявляла казахстанская оппозиция [Cameron, 2018]. Начиная с 2012 года можно фиксировать включение этой темы в репертуар актуального прошлого команды первого президента республики и сохранение этой тенденции при К. К. Токаеве. В речах обоих президентов вина за случившееся редко персонифицировалась, она возлагалась не только на Москву, но и на местные власти; события интерпретировались как трагедия, но не как преступление/геноцид. Также не ставился вопрос о компенсациях или каких-либо разбирательствах в международных организациях [Варфоломеев, 2023]. Активизация дискурса правящей элиты относительно нарратива о голоде 1930-х годов привела к расхождению его с дискурсом тогдашней оппозиции, интерпретировавшей голод как геноцид казахского народа, произошедший по вине властей СССР². Так, оппозиционное движение «Жана Казахстан» в 2018 году опубликовало меморандум, требующий признать голод геноцидом и критиковавшее Н. А. Назарбаева за лояльную к России позицию³.

Точно назвать причину трансформации режима памяти правящих элит в отношении темы голода 1930-х годов сложно. Ключарева и Корусенко, анализируя эволюцию политики памяти Казахстана, выделяют 2012 год как точку трансформации и начало современного этапа, отмечая такие факторы, как демографические изменения и рост оппозиционных настроений [Ключарева, Корусенко, 2023]. К этому можно добавить влияние внешних факторов: принятие в 2010 году резолюции ПАСЕ об осуждении сталинской политики

² Интерпретация голода 1930-х годов как геноцида возникла в конце 1980-х годов. После распада СССР в Казахстане в рамках работы специальной комиссии в 1992 году было принято постановление, согласно которому голод 1930-х годов имеет признаки геноцида. Однако официальные власти Казахстана стараются избегать данной интерпретации, что становится поводом для критики со стороны оппозиции.

³ О признании геноцида казахов. Правовые основы и политическая оценка // Матрица.kz. 2018. URL: <https://matritca.kz/old/news/54004-o-priznanii-genocida-kazahov-pravovye-osnovy-i-politicheskaya-ocenka.html#sel=25:1,25:34;1:1,1:9> (дата обращения: 22.08.2025).

коллективизации, приведшей к голоду в СССР. Рассуждая о трансформациях режимов памяти, Диксон отмечает, что это всегда результат давления со стороны внутренней оппозиции, а также внешних сил [Dixon, 2018].

Случай политической инструментализации темы голода 1932–1933 годов в Казахстане лишь в последние годы стал привлекать внимание исследователей. На сегодняшний день подробно проанализированы историография данного события, современные историографические течения, посвященные голоду 1930-х годов [Киндлер, 2017; Cameron, 2018], а также содержание школьных учебников истории [Dukeyev, 2023]. Кроме того, проведен предварительный сравнительный анализ причин политической инструментализации темы голода в Украине и Казахстане.

На данный момент тема голода — часть символической политики Республики Казахстан, ее интерпретация является объектом борьбы мнемонических акторов между представителями правящей элиты, воспроизводящей умеренный нарратив о голоде как части общесоветской трагедии, и оппозиционными группами, отстаивающими интерпретацию голода как геноцида казахского народа [Dukeyev, 2023; Варфоломеев, 2023].

Одним из инструментов, посредством которых конкурирующие мнемонические акторы пытаются популяризовать свой нарратив о голоде 1932–1933 годов, является документальный кинематограф. С целью сравнения способов подачи в кинематографе конкурирующих нарративов, а также для анализа отражения их в представлениях аудитории в данной статье проанализированы две документальные ленты — «Ашаршылық»⁴ (реж. Еркин Ракишев, 2013) и «Зулмат»⁵ (реж. Жанболат Мамай, 2019), размещенные на площадке YouTube, а также пользовательские комментарии о фильмах на той же площадке.

Документальный кинематограф как инструмент формирования коллективных представлений о прошлом

Фуко утверждал, что, контролируя память, можно влиять на способность людей действовать, меняться и преобразовывать реальность [Foucault, 1975]. Развивая эту мысль, Стеркен подчеркивает, что культурная память — поле борьбы за интерпретацию прошлого, а ее формирование происходит посредством создания смыслов, образов, текстов, артефактов и визуальных репрезентаций [Sturken, 1997].

Ян Ассман, выделяя коммуникативную и культурную память, указывает на эфемерность первой, поскольку она ограничена протяженностью жизни определенных поколений очевидцев и свидетелей данного события [Ассман, 2004]. Появление письменности, по Ассману, позволило продлить жизнь

⁴ Ашаршылық // YouTube. 2013. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=JtyiiQ9j9Wc> (дата обращения: 13.08.2025).

⁵ Зулмат. Геноцид в Казахстане // YouTube. 2019. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=-QZdrtpV0uU> (дата обращения: 13.08.2025).



памяти, трансформировав ее в культурную [Ассман, 2004]. Голод 1930-х годов в Казахстане служит ярким примером перехода от коммуникативной памяти к культурной, причем в данном случае она приобретает медиатизированный характер, представленный не только через письменные источники, но и через широкий спектр аудиовизуальных материалов, рассчитанных на массовую аудиторию. В этом контексте следует учитывать, что СМИ, включая документальное кино, не только отражают существующие представления о коллективной памяти, но и активно участвуют в их формировании и трансформации, включая возможное искажение или селективное воспроизводство исторических событий, обусловленное как самим процессом создания контента, так и идеологическими факторами.

Алейда Ассман считает, что кино, спектакли, книги, картины (и прочее) помогают формировать вторичное свидетельство [Ассман, 2018]. Главный герой произведения выступает своего рода моральным свидетелем события и своим образом эмоционально заряжает аудиторию. Отклики аудитории делают ее частью сообщества вторичных свидетелей. Таким образом, вторичные свидетельства становятся символическим воплощением трагического события и живым доказательством произошедшего.

Документальное кино как синтез кинематографа, документалистики и медиапродукта [Волкова, Хлевнюк, 2023], в отличие от игрового кино, базируется на реальных фактах и документах. Однако документальность — это не просто регистрация повседневности, а сложный процесс выстраивания связи между запечатленной реальностью и ее социокультурным, символическим и художественным осмыслением [Якимов, 2021]. Документальное кино, соединяя вербальную, аудиальную и визуальную информацию (например, интервью на фоне динамичных изображений), создает многослойный нарратив, наполненный смыслом и метафорами. Как отмечает Пронин [Пронин, 2017], любой фильм, включая документальный, демонстрирует одновременно и само прошлое, и процесс повествования о нем (двусобытийность). Документалистика — это не просто описание фактов, а субъективное повествование об уникальных событиях [Пронин, 2017]. Именно сочетание достоверности и возможностей монтажа делает такие фильмы мощным инструментом формирования исторической памяти [Ashuri, 2005].

Как средство массовой информации, документальный кинематограф имеет дополнительный ресурс в распространении смыслов и образов прошлого благодаря возможности тиражирования и презентации контента широким слоям населения. Это делает кинодокументалистику важным инструментом коллективного переживания прошлого и его запоминания [Волкова, Хлевнюк, 2023]. При этом у зрителей формируется относительно однородное представление о прошлом, опосредованное лишь разнообразием личного опыта зрителей. Таким образом, возникают условия для распространения определенного целостного нарратива о прошлом благодаря эмоциональному воздействию на процесс формирования представлений. В результате просмотра фильма возникает сильный аффективный опыт, что ведет к появлению и укреплению коллективных воспоминаний [Родионова, 2017].

Традиционно выделяют три типа документальных фильмов. Первый — пропагандистские, они включают в себя как западные ленты, например, британские кинохроники Второй мировой войны, так и советские фильмы, наследующие традиции агитпропа и отражающие советскую идеологию. Второй тип — современные научно-популярные передачи, сделанные в виде визуальных эссе. Третий тип — цифровые документальные фильмы, являющиеся гибридом первых двух, где акцент смещается от рефлексии события к его интерпретации, часто освобожденной от жестких идеологических рамок, в отличие от первых двух типов [Aufderheide, 2007].

Интерес аудитории к историческому документальному кино обычно продиктован желанием сформировать или укрепить свое представление о прошлом. Иногда это создает условия для манипулятивного изложения событий и представления аудитории строго определенных визуальных доказательств, поскольку фильм как коммуникативный акт может приводить к пластичной интерпретации визуальных доказательств, что, в свою очередь, «...позволяет внушать определенные смыслы под видом восприятия их как чувственно данных предметов» [Поцелуев, 1999].

Таким образом, документальное кино, претендующее на историческую достоверность, направлено на закрепление репрезентируемого в нем исторического нарратива как единственно верного взгляда на событие. Приглашенные эксперты, демонстрационные материалы (например, официальные документы, фотографии и записи хроники), выезды на место происшедших событий выступают средствами подчинения аудитории авторитету свидетельства, а значит принятию зрителем статуса вторичного свидетеля.

Методология

Отбор фильмов для эмпирического анализа документалистики проводился на основе следующих критериев: 1) заявленная документальность и стремление к исторической достоверности, наличие и качество ссылок на источники и экспертную оценку; 2) наличие в фильме нарратива о голоде 1930-х годов в КССР, заснятого на территории Казахстана; 3) широта охвата аудитории, которая определялась по данным о просмотрах и упоминаниях в СМИ; 4) выраженность авторской позиции, которая оценивалась по стилистическим решениям режиссера; 5) наличие фильма в открытом доступе и активность его обсуждения в СМИ и социальных сетях; 6) полнометражный формат.

Первый документальный фильм о голоде 1932–1933 годов в Казахстане вышел еще в 1992 году. Это была лента по мотивам книги Валерия Михайлова «Хроники великого Джута». Следующая документальная лента вышла лишь двадцать лет спустя. Зафиксировано, что в общем списке фильмов, вышедших после 2012 года есть три полнометражных документальных ленты о голоде 1930-х годов: «Хроники великого Джута», «Ашаршылык» и «Зулмат». Из них всем шести критериям отбора соответствуют «Ашаршылык» (реж. Еркин



Ракишев) и «Зулмат» (реж. Жанболат Мамай), которые помимо соответствия логике отбора демонстрируют полярные взгляды на событие.

Отобранные фильмы имеют одинаковую хронологическую схему повествования, что позволяет при их сравнении понять, как совокупности повторяющихся моделей, тем и подтем, аудиовизуальных элементов создают набор универсалий, которые предопределяют характер повествования и в результате складываются в соперничающие нарративы. «Ашаршылык» и «Зулмат» находятся в открытом доступе (опубликованы на YouTube), имеют широкий охват аудитории (первый — 190 тыс., второй — 800 тыс. просмотров) и достаточно активно обсуждались как пользователями платформы, так и в СМИ.

«Ашаршылык» был снят на государственной киностудии «Казахфильм» при поддержке государства и предназначался для показа на государственном телеканале. Его режиссер Еркин Ракишев занимал пост вице-президента Алматинской торговой палаты, а позже стал депутатом городского маслихата от правящей партии «Аманат». Эти обстоятельства позволяют рассматривать фильм не как сугубо авторский проект, а как репрезентацию официальной позиции казахстанских властей в отношении коллективных представлений о голоде 1930-х годов.

Фильм «Зулмат» был создан в рамках YouTube-канала движения «Демократический Казахстан», которое возглавлял оппозиционный политик Жанболат Мамай, известный критикой официального исторического нарратива. Сам Ж. Мамай позиционировал проект как альтернативную версию истории без купюр. В 2023 году он был осужден за организацию январских протестов 2022 года, что дополнительно маркирует его фильм как часть оппозиционного дискурса. Однако, учитывая публичный статус Мамаева и его связи с оппозиционными кругами, «Зулмат» также следует рассматривать не только как личное высказывание режиссера, но и как отражение позиции определенной части казахстанской интеллектуальной и политической среды.

О том, что фильмы представляют два полярных мнения, говорят нам уже названия картин. «Ашаршылык» (буквально с казахского — «массовый голод») — распространенное название голода 1930-х в Казахстане. Власти страны используют его как наиболее нейтральное. В публицистике также можно встретить «великий джунт» или украинский «голодомор», но Мамай предлагает более эмоциональный вариант — «Зулмат» (буквально — «бедствие»).

Как отмечалось ранее, наша цель — провести сравнительный анализ представленных в этих фильмах конкурирующих нарративов, а также изучить, как каждый из фильмов влияет на формирование у аудитории представлений о голоде 1930-х годов.

Для достижения этих целей был проведен нарративный анализ документальных фильмов, который предполагал всестороннее исследование их элементов повествования, структурной композиции и тематического содержания. Такой подход фокусируется на раскрытии способов построения повествования для понимания общей стратегии, ее идеологических основ и способов воздействия на аудиторию. Как отмечают Бредбери и Гуаданьо [Bradbury, Guadagno, 2021], при проведении нарративного анализа документального

фильма необходимо изучить несколько ключевых компонентов, чтобы глубже понять его повествовательную структуру и смысл.

1. Тематический анализ, что предполагает определение основных информационных сообщений, ценностей и тем, которые составляют основу повествования. Это ведет к пониманию скрытых или явных идеологических позиций, а также этических дилемм, представленных в фильме.
2. Техники повествования, используемые в документальном фильме. Это включает в себя рассмотрение таких кинематографических средств, как интервью, архивные материалы, реконструкции, закадровый голос и другие. Кроме того, внимание уделяется динамике фильма, последовательности и связности повествовательной линии.
3. Презентация отдельных персонажей, как изучение того, как персонажи, реальные или вымышленные, представлены в документальном фильме: их позиция, активности и вклад в общее повествование. Способы изображения отдельных лиц и сообществ важны для определения идеологической и тематической направленности фильма.
4. Восприятие аудиторией фильма является важным аспектом нарративного анализа. Это предполагает рассмотрение запланированных и непреднамеренных эффектов повествования, изучение восприятия фильма, а также его потенциала побуждать зрителей к активной реакции.

В данном исследовании для реализации последнего критерия был проанализирован массив комментариев, оставленных пользователями YouTube (8,4 тыс. комментариев к фильму «Зулмат» и 673 комментария к фильму «Ашаршылык»). Была сформирована база комментариев, на основе которой проводился тематический анализ откликов.

«Ашаршылык» и «Зулмат»: анализ соперничающих нарративов

Фильм режиссера Е. Ракишева создавался на казахском языке, мнения русскоговорящих экспертов переведены на казахский и озвучены закадровым голосом. Фильм Ж. Мамай снят на русском языке, мнения и воспоминания на казахском языке приведены с русскими субтитрами. Режиссер мотивирует это тем, что фильм направлен не только на аудиторию Казахстана, но и на широкую международную аудиторию, уточняя, что с русского языка быстрее и проще перевести текст на английский и украинский языки⁶.

Хотя «Ашаршылык» был снят по заказу кинокомпании «Казахфильм» для показа на телевидении, в 2013 году он был размещен на YouTube-канале главной мечети Казахстана Хазрет Султан. За 11 лет он имел около 190 тыс. просмотров. Часто встречается в СМИ в подборках фильмов о голоде 1930-х в Казахстане. Однако собственно обсуждения в прессе он не получил.

⁶ Режиссер документального фильма «Зулмат. Геноцид в Казахстане» — О том, почему молодое поколение мало знает о Годах великого бедствия // The Steppe. 2019. URL: <https://the-steppe.com/lyudi/rezhisser-dokumentalnogo-filma-zulmat-genocid-v-kazahstane-o-tom-pochemu-molodoe-pokolenie-malo-znaet-o-godah-velikogo-bedstviya> (дата обращения: 13.08.2025).



Вышедший в 2019 году фильм «Зулмат» стал широко обсуждаемым проектом. Режиссер активно давал интервью, а премьере на YouTube-канале партии «Демократический Казахстан» предшествовали показы для прессы в кинотеатрах Алматы. Отзывы на фильм были полярными. Фильм *Мамая* стал также поводом для реакции МИД РФ на вопрос о «политизации голода 1932–1933 годов в Казахстане»⁷. Фильм собрал около 800 тыс. просмотров за 5 лет.

Тематический анализ

Содержательно фильм «Ашаршылык» можно разделить на три части. Сюжет первой — голод 1930-х годов как результат перегибов раннесоветского периода политики продразверстки. В этой части описывается также борьба с инакомыслием в Казахстане, а именно, с членами партии «Алаш». Главной тут становится тема расправы с людьми, способными предложить альтернативную стратегию развития страны. Вторая часть фильма освещает события голода 1932–1933 годов. Фокусом становится невнимание центра к окраинам и стремление людей на местах выслужиться перед московским начальством, что явилось важной предпосылкой голода. Третья часть представлена как подведение итогов, где приведены мнения экспертов о событиях 1932–1933 годов. Центральной темой этой части стал аспект демографических и культурных утрат, которые изменили Казахстан и казахов. В заключении режиссер, основываясь на приведенных мнениях экспертов, отмечает, что подобные события происходили на территории всего Советского Союза и виновными в том были руководители государства, давшие подчиненным нереалистично короткие сроки для реализации плана, а также руководство на местах, не информировавшее о событиях «на земле» своевременно и дававшее отчеты о ходе коллективизации, не соответствующие реальности, что и стало причиной непреднамеренной трагедии.

Таким образом, идеологически фильм Ракишева укладывается в официальный курс Н. А. Назарбаева. Практически дублируя тезисы школьных учебников, фильм создает нарратив о голоде как результате необдуманной политики советских властей. Ракишев не исключает голод в Казахстане из общесоветского контекста, не интерпретирует его как уникальное событие или геноцид. Режиссер четко называет акторов, виновных в неоказании помощи голодающим, в первую очередь руководителей СССР — И. Сталина, а также

⁷ Ранее российский МИД комментировал только «политизацию голода» в Украине. В комментарии МИД РФ по этому поводу сказано: «Убеждены, что подтасовками исторических фактов с использованием «националистической карты» не получится сбить с толку братские россиянам народы Центральной Азии. Давать оценки прошлому, тем более его сложным страницам, должны, прежде всего, ученые-историки и другие специалисты при поддержке правительств своих стран».

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с инсинуациями вокруг трагедии, вызванной голодом в СССР в 1932–1933 годах // Министерство Иностранных Дел Российской Федерации. 2019. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3540615?fbclid=IwAR0_XO2sV2LK6gCqGNPwifjKZa93GbLm0cKrqRC2VBOg-vcWldoYq9ct8w (дата обращения: 13.08.2025).

Ф. Голощекина как главу Казахстана. Однако четкость, с которой озвучена вина за трагедию, не соответствует нейтрально-размытой стратегии доминирующего дискурса первых уполномоченных лиц Казахстана [Варфоломеев, 2023].

Фильм «Зулмат» состоит из пяти частей: «голод 1921–1922 годов», «начало Зулмата», «народные восстания», «ужасы голодной смерти», «был ли голод геноцидом?». Центральной темой всех частей становится проблема сохранения казахами традиционной культуры и быта и их постепенное разрушение советскими властями, стремившимися, по версии Ж. Мамай, ликвидировать местное население и заселить территорию степи колонистами из европейской части СССР. Важной темой также является вопрос сопротивления казахского населения политике Москвы. Развивая антиколониальный тезис, Мамай уравнивает деятельность Российской Империи и Советского Союза в регионе и говорит о необходимости реституции и извинений от современной России за содеянное.

Финальная часть фильма посвящена авторской интерпретации голода 1932–1933 годов в Казахстане. Используя статистику, а также мнение экспертов, Мамай подводит аудиторию к единственно возможному из сочетания видеоряда, экспертных заключений, авторского текста и воспоминаний очевидцев выводу, что голод — геноцид. Развитие идеи фильма состоит в следующем: по ходу сюжета приводятся факты, которые в финале становятся доказательной основой для авторского заключения. В конце Мамай перечисляет количество жертв голода по этносам, проживавшим в Казахстане, — от наименьшего к большему (казахам), после чего приводит разработанные Р. Лемкиным⁸ критерии для признания события геноцидом (авторский текст произносится на фоне кадров пустой степи), что должно привести зрителя к заключению, что голод 1932–1933 годов в Казахстане — геноцид.

В целом оба фильма укладываются в тренд переосмысления советского прошлого и устранения белых пятен через освещение ранее замалчиваемых трагических событий. Рассматриваемые документальные фильмы линейны, воспроизводят характерную для школьных учебников хронологическую последовательность [Dukeyev, 2023] событий от переселения в начале XX века в степи Казахстана русских к преследованию членов партии «Алаш» и голоду 1930-х.

Принципиальное их различие лежит в плоскости темы артикуляция вины за голод. Ракишев, следуя политике А.Н. Назарбаева, избегает переноса вины на современную Россию, через мнения экспертов подчеркивает, что голод был не только в Казахстане и не являлся спланированной акцией, а стал результатом необдуманной и форсированной политики большевиков по трансформации традиционного образа жизни казахов. Вина у Ракишева

⁸ Рафаэль Лемкин — юрист, ввел в международное право понятие «геноцид». Разработанное им определение закреплено в Конвенции ООН о предупреждении и наказании преступления геноцида, принятой в 1948 году.

Как Рафаэль Лемкин убедил мир признать геноцид преступлением // Новости ООН. 2018. URL: <https://news.un.org/ru/story/2018/12/1344561?ysclid=mf0zpk1vvt954060027> (дата обращения: 13.08.2025)



возложена на режим, что не вполне укладывается в рамки официального казахского нарратива и стратегии по сохранению позитивных отношений с Россией (возложение вины за голод на современную Россию может быть воспринято негативно).

Мамай же тему вины рассматривает с либеральных и антиназарбаевских позиций. Он формулирует тезис о вине советского руководства и России как правопреемницы СССР, а также экспортирует украинскую стратегию артикуляции голода как геноцида казахов. Автор дискурсивно подчеркивает свою оппозиционность требованием к властям Казахстана пересмотреть свою позицию относительно данного события, а также поднимает вопрос компенсаций за совершенное в прошлом.

Техники повествования и характеристика изображения

Важным источником информации о событии в современном мире является фото- или видеофиксация произошедшего. В 1930-е и то, и другое было возможно, но экстремальная ситуация, сложившаяся в Казахстане, и государственная цензура в СССР не позволили сформировать базу фото- и видеодокументальных подтверждений, подобного материала крайне мало.

Визуальный ряд или, правильнее сказать, визуальные элементы убеждения в фильме режиссера Е. Ракишева включают в себя кадры советской хроники (демонстрируются заседания съездов ВКП(б)), фотографии, архивные документы, а также отрывки из художественного фильма «Заманай» («Времена») 1997 года, который, в частности, рассказывает о голоде 1932–1933 годов и откочевке казахов в Китай, а также реконструированные эпизоды с участием реальных исторических личностей — казахстанского руководства того периода.

Фильм *Мамай* строится в основном на тех же визуальных элементах, но дополнен натурными съемками, кадрами хроники из фильма о голоде на Украине, а также включает интервью с очевидцами голода в Казахстане.

Использование визуального ряда из украинского фильма о голоде *Мамай* объяснил ограниченным бюджетом⁹. Он также отметил, что видео- и фотоматериалы о событиях в Казахстане было невозможно использовать из-за их плохой сохранности. Однако цитирование вызвало критику. Во-первых, заимствованный из украинского документального фильма визуальный ряд демонстрирует страдающих европейцев, а не казахов. Во-вторых, заимствование материала привело и к некоторым историческим неточностям: кадры с участием военных, например, относятся к периоду 1940-х годов.

Официальные документы имеют символическую власть над людьми. Поэтому важным инструментом убеждения становятся архивные документы или их копии. Оба режиссера используют их (донесения, приказы, записи

⁹ Жанболат Мамай, журналист: «Круг ответственных за голодомор был бы очень широким и очень большим» // *Власть*. 2019. URL: <https://vlast.kz/obsshestvo/31554-zanbolat-mamaj-zurnalist-krug-otvetstvennyh-za-golodomor-byl-by-ocen-sirokim-i-ocen-bolsim.html> (дата обращения: 13. 08.2025).

допросов) и различные эго-документы (дневниковые записи, мемуары). Ракишев для большей достоверности цитат приводит их с выходными данными архивов, из которых были взяты документы, что должно убедить в их достоверности. Мамай при цитировании не приводит такие данные. Но при этом демонстрирует кадры работы режиссера с документами в архиве, а также использует прием набора текста в реальном времени, который должен создать ощущение момента зарождения документального свидетельства в определенной точке прошлого. Высказывания сопровождаются здесь не просто кадрами, но анимированными фотографиями людей, которые якобы в реальном времени произносят свой монолог параллельно с набираемым текстом.

Сухие факты хороши своей четкостью, но, подкрепленные эмоциями, они вызывают больший отклик аудитории. Оба автора, работая с архивными документами, приводят яркие, трагические отрывки из донесений.

Другой формой документальных свидетельств являются дневниковые воспоминания и специальные донесения работников ОГПУ. Например, Мамай, описывая действия членов ВКП(б), связанные с изъятием зерна у крестьян, приводит цитату из донесения начальника отдела кадров ОГПУ по Казахстану Авдакова:

«В процессе расследования установлены элементы садизма при расстрелах. Расстреливали из дробовиков и малокалиберных винтовок, ... кровь арестованных и т. д.»¹⁰

Подобные примеры остро воздействуют на эмоции зрителя, вызывая сострадание и неприязнь к артикулируемому виновному.

Кадры интервью с экспертами апеллируют к авторитету говорящего. Так, Ракишев работает с казахстанскими и российскими исследователями. А Мамай — с казахстанскими и украинскими.

Этот же эффект морального авторитета создают и кадры с реальными участниками тех событий в фильме «Зулмат», где воспоминания очевидцев о пережитой трагедии должны эмоционально подкрепить сказанное экспертами. Фильм Мамай начинается с рассказа Мекемтаса Мырзахметулы о своем детстве, когда его с матерью и маленькой сестрой, ослабевших от голода, окружила стая голодных волков, и, чтобы спастись, его мать пожертвовала дочерью ради продолжения рода. Свидетели в фильме не дают оценку событиям. Они рассказывают об испытанных эмоциях, что побуждает зрителя осознать несправедливость происшедшего и солидаризироваться с очевидцем, став со-свидетелем.

Еще один прием — выезд на место события. Ракишев не использует его. Отчасти это восполняется кадрами из художественного фильма «Заманай», в то время как Мамай активно к нему обращается. Демонстрируя кадры

¹⁰ Зулмат. Геноцид в Казахстане // YouTube. 2019. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=-QZdrTPVOuU> (дата обращения: 13.08.2025).



разных локаций, он рассказывает зрителю о происходивших там событиях, что позволяет сформировать ощущение сопричастности.

В «Ашаршлыке» Ракишев предпочитает классический прием документалистики, когда автор большую часть хронометража находится вне кадра. Подход Е. Ракишева к работе с источниками и визуальным рядом более академичен и, скорее, апеллирует к рациональному в зрителе: приводимые документы подкреплены выходными данными, представлены мнения разных экспертов. В визуальном ряду хоть и используются постановочные кадры, но этот прием претендует на достоверное отображение происходившего. Такой подход апеллирует к рациональному восприятию, предлагая зрителю самостоятельно интерпретировать факты. Однако эта сдержанность может снизить эмоциональный отклик аудитории.

Что же касается подхода Мамай, то можно его охарактеризовать как гонзо: автор присутствует в кадре, активно выражает собственную позицию, что повышает уровень субъективности материала, приводимые архивные материалы не подкрепляются выходными данными, визуальный ряд воспроизводит европейский опыт, но вместе эти факторы позволяют сформировать не сухое, а глубоко насыщенное эмоционально повествование, что, вероятно, способствует большему отклику аудитории. Мамай не стремится к нейтральности, его цель в том, чтобы зритель не просто узнал о трагедии, но прочувствовал ее на уровне личностного восприятия.

Эти две стратегии повествования влияют на способы изображения отдельных персонажей. Ракишев старается более формально описывать, прежде всего, действия советских властей. Он не использует эмоционально окрашенную лексику, а повествует об их деятельности через цитирование документов, что, вероятно, позволяет нарисовать более официальный портрет руководства СССР. Задача Мамай в изображении коммунистического руководства состояла в демонстрации его злонамеренного умысла в организации голода, чего автор добивается через демонстрацию хроник, связанных с изъятием зерна, на примере украинских событий, через цитирование наиболее ярких документов, отображающих негативные аспекты решений власти, а также через некоторые карикатурные изображения, например, Сталина, читающего собственные постановления.

Таким образом, различие двух фильмов выходит за рамки стилистики, оно отражает более глубокий спор о природе и функциях исторической памяти. Е. Ракишев предлагает официальную версию, основанную на документах и рациональной аргументации, в то время как Мамай создает то, что Алейда Ассман называла вторичным свидетельством, то есть память, основанную не на личном опыте и непосредственном переживании события, а на эмоциях, пережитых при восприятии медийного контента. Первый подход ближе к академическому дискурсу, второй — к публицистике и гонзо-журналистике. Их соперничество — это не просто спор о фактах, а столкновение двух способов говорения о травме: через беспристрастный анализ или через попытку личностного переживания прошлого. Сопоставление этих двух кейсов позволяет подойти к тезису о закономерностях

в создании кинематографической версии исторических нарративов, где документальное кино становится полем борьбы за коллективную память, где каждый из нарративов претендует на доминирование в формировании исторического сознания аудитории.

Восприятие аудиторией: тематический анализ комментариев

Как уже было сказано ранее, оба фильма находятся в открытом доступе на площадке YouTube, что позволило авторам фильмов охватить довольно широкую аудиторию. Функция комментирования видеоконтента на площадке дает возможность проанализировать восприятие этих фильмов аудиторией. Для этого раздела был проведен тематический анализ комментариев: 8,4 тыс. комментариев для фильма «Зулмат» и 673 комментариев для фильма «Ашаршылык».

Тематический анализ комментариев к фильму «Ашаршылык»

Фильм «Ашаршылык» Е. Ракишева, снятый, как уже говорилось, на казахском языке и не дополненный русскими или английскими субтитрами, ориентирован в первую очередь на казахоязычную публику, что отражено и в распределении комментариев по языкам. Отсутствие субтитров и использование только казахского языка ограничивают аудиторию носителями этого языка. Подавляющее большинство комментариев оставлены на казахском — 76,2%, значительно меньше комментариев на русском (3,6%), еще меньше на киргизском языке, а также с использованием эмодзи. Были также содержательные комментарии на арабском, китайском, туркменском, узбекском, уйгурском и французском языках. Фильм был размещен на YouTube в 2013 году. Однако интересно отметить, что основной массив комментариев был написан после 2018 года (с 2013 по 2018 включительно написано 39,8% комментариев). Премьера фильма «Зулмат» Ж. Мамай, состоявшаяся в 2019 году, вероятно, подогрела интерес и к фильму «Ашаршылык»: на 2019 год приходится 32,7% комментариев, после чего поток спадает, и на 2020 год приходится 16,7%, а на период с 2021 по 2024 годы — лишь 10,8%.

На содержание комментариев к этому фильму повлияла специфика канала, на котором размещен фильм. «Әзірет Сұлтан мешіті» (далее в переводе с казахского «Мечеть Хазрет Султан») — канал главной мечети страны, поэтому в комментариях много отсылок к религиозному опыту их авторов. Ключевыми здесь стали темы ответственности за случившееся, памяти о тяжелом прошлом, благодарности авторам фильма и уверенности в необходимости его распространения, а также тема независимости и сохранения казахской идентичности.

Фильм «Ашаршылык» вызвал среди зрителей дискуссию, в которой четко прослеживаются несколько основных направлений. Первая и наиболее значимая тема касается вопроса вины и ответственности за трагические события



прошлого. Анализ показывает, что наибольшая часть комментаторов (22,5%) возлагает ответственность на конкретных исторических деятелей, прежде всего на И. Сталина и Ф. Голощекина. При этом важно отметить, что термин «геноцид» в этих обсуждениях практически не встречается, что соответствует сдержанной трактовке событий в самом фильме.

«Сталин боялся казахов, потому что среди казахов было много образованных и героических граждан. Аллах накажет тех, кто сделал казахам плохое» (Комментарий к фильму «Ашаршылык»).

Характерный комментарий демонстрирует, что зрители склонны к персонализации вины, но избегают радикальных оценок.

Вторая по активности обсуждений тема связана с осмыслением трагического коллективного прошлого (18,8% комментариев). Особенностью здесь является ярко выраженный религиозно-этический характер комментариев: многие участники обращаются к исламской риторике, что объясняется размещением фильма на канале мечети. Типичное высказывание:

«Давайте будем смиренны. Да благословит Аллах его любимого слугу. Аллах создал нас. Слава Аллаху, в нашей стране сейчас мир. Мы построим свою семью. Давайте помолимся за наших предков. Сегодняшняя молодежь, давайте иметь свободное будущее. Не будем забывать об истории нашей страны. Да благословит нас всех Аллах» (Комментарий к фильму «Ашаршылык»).

Этот нарратив — попытка осмыслить трагедию в контексте духовных ценностей. В целом данная группа комментариев отражает озабоченность зрителей проблемой поддержания памяти о трагической судьбе предков, звучит тема скорби о погибших, а также апелляции к семейной памяти, которая легитимирует описанное в фильме.

Третья по активности тематическая линия (11,5% комментариев) выражает благодарность создателям фильма и содержит призывы к его более широкому распространению. Важно отметить, что многие зрители подчеркивают образовательную ценность картины, предлагая включить ее в школьную программу.

«Эту трагедию Великой Степи надо показывать как воспитательный урок в каждой школе, эту трагедию никогда нельзя забывать» (Комментарий к фильму «Ашаршылык»).

Эти слова подтверждают, что аудитория воспринимает фильм не только как историческое свидетельство, но и как инструмент формирования мировоззрения.

Четвертая тема (8,6% комментариев) связывает исторические события с вопросами современной национальной идентичности и независимости.

В этих обсуждениях прошлое используется как аргумент в современных политических дискуссиях.

«Хотелось бы, чтобы была русская и английская версия этого фильма. Пусть другие народы знают, каково быть казахом. И что наша независимость не упала с неба» (Комментарий к фильму «Ашаршылык»).

Высказывание демонстрирует, как историческая память становится инструментом для политических целей. Примечательно, что в этих обсуждениях наряду с российской угрозой упоминается и китайский фактор, что отражает актуальные геополитические тревоги казахстанского общества.

В целом фильм был встречен довольно доброжелательно, но не получил широкого распространения, с момента появления он часто появлялся в различных подборках материалов о голоде 1932–1933 годов, выпускаемых СМИ ко дню памяти жертв политических репрессий и голода. Комментаторы не развивают альтернативных нарративов, почти не выступают с критикой авторской интерпретации и в целом скорее воспроизводят ее и выражают готовность ее распространять.

Тематический анализ комментариев к фильму «Зулмат»

Фильм «Зулмат» Мамаев получил более широкое освещение в прессе. Отзывы как внутри Казахстана, так и вне его оказались полярными. Государственные СМИ либо полностью проигнорировали новость о выходе фильма, либо сделали короткие нейтральные релизы в печатных изданиях. Более активной оказалась оппозиционная пресса: была выпущена серия интервью с Ж. Мамаевым, освещались показы фильма и принятие фильма зарубежной аудиторией. Так, издание Eurasianet.org описывает принятие фильма аудиторией кинотеатра «Арман», где прошла премьера фильма, следующим образом:

«Говорят, что якобы некий мужчина славянской наружности на показе ворчал, что в фильме полно „дезинформации“. Но на показе, на котором присутствовал представитель Eurasianet.org, зрители восторженно аплодировали в конце фильма. Присутствовавшего в зале Мамаев окружили зрители, желающие получить автограф и сфотографироваться с ним»¹¹.

Издания, ориентированные на русскоязычную аудиторию, отреагировали негативно. Портал news-front.info так пишет о фильме:

«В Казахстане фактически осуществляют идеи украинского Майдана, но не посредством уличных беспорядков и государственного переворота, а в результате проводимой политики сверху. Очередным

¹¹ Казахстан: документальный фильм о голоде стал сенсацией // Eurasianet. 2019. URL: <https://clck.ru/SnDNs> (дата обращения: 13. 08.2025).



доказательством стало продвижение пропагандистского фильма о казахстанском „голодоморе“, призванного подстегнуть государственную политику декоммунизации и дерусификации внутри страны»¹².

Общим местом для критики в прессе стал тезис Мамай со ссылкой на исследование казахстанских демографов о том, что, если бы голод не случился, население Казахстана достигло бы 50 миллионов человек вместо 15 миллионов, проживающих в стране на данный момент. Критике также подверглась националистическая риторика и игнорирование происходившего в те же годы голода в России при освещении темы голода 1932–1933 годов в СССР¹³.

«Зулмат» вышел на русском языке, что сделало его доступным не только для владеющих казахским, но и для более широкой аудитории, и обеспечило ему большее внимание, чем фильму Ракишева. Фильм активно обсуждался в комментариях: за 5 лет оставлено 8436 записей под видео. Большинство из них на русском языке (более 56%), немного меньше на казахском (39,2%), также оставлены комментарии на английском, азербайджанском, киргизском, туркменском, узбекском, украинском языках, около 1% сделаны с помощью эмодзи.

Основной массив комментариев оставлен в год выхода — 67,3%. После активность существенно падает (15,6% в 2020, 17,1% — в период с 2021 по 2024 годы). Такой разрыв между первым и последующими годами можно объяснить особо острой реакцией на фильм как внутри, так и вне страны — русскоязычная публика активно выражала протест против интерпретации голода как геноцида, а также оспаривала возложение вины за события 1932–1933 годов на руководство СССР, комментарии этого периода в большей степени можно отнести к взаимным оскорблениям, нежели к продуктивной дискуссии.

Если вынести споры за скобки, о чем подробнее будет ниже, то ключевые темы комментариев совпадают с комментариями к фильму «Ашаршылык». Ответственность за произошедшее, память о тяжелом прошлом и вопрос независимости снова в топе центральных, но к ним добавляются тема семейной памяти, а также тема осуждения фильма и режиссера.

Фильм «Зулмат» вызвал значительно более поляризованную дискуссию. Прежде всего, доступность фильма на русском языке расширила круг зрителей, включив в дискуссию русскоязычную аудиторию с различными взглядами на историю. Центральное место в обсуждениях заняла тема геноцида, которая расколола комментаторов на два лагеря. Сторонники этой трактовки (34,6%) активно используют соответствующую терминологию: «*Мы требуем мирового признания геноцида!*» (Комментарий к фильму «Зулмат»). В то время как их оппоненты (29,7%) отвергают такую интерпретацию: «*Такое чувство, что большевики собирали скот и деньги на содержание армии только с Украины и Казахстана. Тогда на всей территории СССР было такое, так что*

¹² Айнур Курманов: Новый фильм о «голодоморе» казахов объяснил нам все // News-front. 2019. URL: <https://news-front.su/2019/02/04/ajnur-kurmanov-novyj-film-o-golodomore-kazahov-obyasnil-nam-vsyo/> (дата обращения: 13. 08.2025).

¹³ «Псевдоисторическая стряпня»: как на новый фильм о голодоморе в Казахстане отреагировали в СМИ // Караван. 2019. URL: <https://www.caravan.kz/news/psevdoistoricheskaya-stryapnya-kak-na-novyyj-film-o-golodomore-v-kazakhstan-otreagirovali-v-smi-517523/> (дата обращения: 22. 08.2025).

не выдумывайте, казахи, никто вас не пытался убить, это не геноцид!». Эта полемика отражает глубинный идеологический раскол в восприятии советского прошлого.

Тема благодарности авторам (9,6% комментариев) в случае с «Зулматом» приобрела особую активистскую окраску. Многие зрители видят в фильме не просто историческое свидетельство, а инструмент борьбы за переосмысление прошлого. Слова: *«Спасибо за правду! Это должно быть в учебниках истории!»* (Комментарий к фильму «Зулмат»), — показывают, что часть аудитории воспринимает картину как средство исправления исторической несправедливости. При этом важно отметить, что благодарность часто сопровождается требованиями конкретных действий.

Отличительной чертой обсуждения «Зулмата» стало активное включение в дискуссию о коммеморации (8,3% комментариев). В отличие от абстрактных призывов помнить, характерных для комментариев к «Ашаршылыку», здесь звучат конкретные предложения по увековечиванию памяти.

«Нам надо в каждой области своими силами поставить памятники и открыть музеи. В школах и др. учебных заведениях, пусть изучают, это ведь наша история. Потомки должны знать о геноциде!» (Комментарий к фильму «Зулмат»).

Высказывание демонстрирует запрос на институционализацию памяти, что отражает более политизированный подход к формированию коллективной памяти.

Зрители в своих комментариях рассматривают исторический нарратив как обоснование конкретных политических решений, напрямую связывая давние исторические события, представленные в фильме, с актуальной внешней политикой: *«Поэтому чтобы история не повторилась, нужно выходить из всех союзов, таких как ОДКБ, ЕАС и т. д.»* (Комментарий к фильму «Зулмат»). Эта активистская особенность отличает обсуждение «Зулмата» от более сдержанной дискуссии вокруг «Ашаршылыка».

Тема голода для комментаторов становится легитимирующей независимый статус Казахстана, но комментаторы фильма Мамаева видят в опыте голода 1932–1933 годов основание для дистанцирования от России, в то время как комментаторы фильма Ракишева находят в этом опыте подтверждение для ослабления сближения с Китаем.

Сопоставление зрительского восприятия фильмов «Ашаршылык» и «Зулмат»

Если сравнивать тематическое наполнение комментариев под обоими фильмами, то можно отметить, что зрители выходят за рамки предложенных авторами нарративов, погружая фильмы в более широкий контекст: говоря уже не только о коллективной памяти, но и о национальной идентичности. Комментаторы фильма «Ашаршылык» преимущественно солидарны с авторской позицией Ракишева, так же, как он, они четко артикулируют виновных в голоде, и при этом избегают острых углов, что, вероятно, позволяет избежать бурных



дискуссий (этому способствует и недоступность фильма в языковом плане для более широкой аудитории). Ракишев избегает определения голода как геноцида, он осуждает коллективизацию и седентаризацию, подчеркивает, что голод был и в других частях СССР, такой же позиции придерживаются и комментаторы.

Зрители фильма *Мама* более гетерогенны, что приводит к оживленным дискуссиям и высокой доле несогласных с авторской позицией. Автор «Зулмат», опирающийся на украинский нарратив о голоде, воспроизводит более агрессивную артикуляцию голода как геноцида, только в данном случае — казахского народа, что вслед за ним повторяют комментаторы, называя голод геноцидом и голодомором. Это приводит к ответной агрессивной реакции со стороны несогласных с подобной интерпретацией и, как следствие, жестким дискуссиям между оппонентами, что подчеркивает потенциальную конфликтность такой трактовки.

Сопоставление двух кейсов позволяет выявить важные закономерности в восприятии кинематографической версии исторических нарративов. Первое принципиальное отличие касается характера дискуссий. Если обсуждение «Ашаршылыка» отличалось относительной однородностью мнений, то «Зулмат» вызвал острую полемику. Это различие объясняется не только языковым фактором, но и разной степенью политизации нарративов вследствие стилового своеобразия изложения прошлого. «Ашаршылык», избегающий радикальных оценок, создал пространство для рефлексии, в то время как обвинительный пафос «Зулмата» спровоцировал идеологическое противостояние.

Второе важное отличие касается природы и функций исторической памяти. В случае с «Ашаршылыком», судя по комментариям аудитории, память призвана выполнять преимущественно мемориальную и воспитательную функции, что проявляется в призывах комментаторов помнить и учиться на ошибках прошлого. Напротив, обсуждение «Зулмата» демонстрирует инструментальную функцию памяти, когда определенная трактовка исторических событий используется для обоснования современных политических решений. Эти различия отражают две принципиально разные модели работы с трудным прошлым.

Третье отличие связано с восприятием международного контекста. Если в комментариях к «Ашаршылыку» критика исторических событий носит более абстрактный характер, то обсуждение «Зулмата» содержит прямые параллели с современной геополитикой. Это проявляется в требованиях пересмотреть отношения с Россией и другими соседями. Такая разница в подходах показывает, как разные способы подачи исторического материала могут влиять на формирование внешнеполитических установок аудитории.

Заключение

Авторские нарративы в фильмах «Ашаршылык» и «Зулмат» демонстрируют принципиально разные подходы к интерпретации голода 1932–1933 годов в Казахстане. Е. Ракишев выстраивает нарратив в рамках официальной позиции казахстанских властей, представляя голод как трагическое, но не уникальное

следствие коллективизации, вину за которое несут советские руководители, включая И. Сталина и Ф. Голощекина. В отличие от него Ж. Мамай использует более радикальный нарратив, настаивая на преднамеренном использовании голода с целью геноцида казахов, что сближает его позицию с украинской трактовкой голодомора. Различие в нарративах отражает идеологический раскол между государственным и оппозиционным дискурсами социальной памяти. Таким образом, документальное кино становится полем борьбы за коллективную память, где каждый из нарративов претендует на доминирование в формировании исторического сознания аудитории.

В зависимости от авторской позиции режиссера, за которой стоит идеология определенной социальной страты, отбор основных персонажей и их функции различны. В «Ашаршылыке» ключевыми персонажами становятся исторические деятели (И. Сталин, Ф. Голощекин) и эксперты, чьи авторитетные мнения представлены в целях рациональной аргументации нарратива об исторической трагедии. Авторское «я» остается за кадром.

В «Зулмате» центральное место занимают простые граждане, бывшие очевидцами травматических событий, чьи эмоциональные истории призваны вызвать сочувствие и гнев у зрителей, а также сам режиссер, активно участвующий в повествовании. Разница в выборе и подаче носителей авторитетного мнения подчеркивает различие между академическим и эмоционально-публицистическим подходами. Это показывает, как выбор персонажей влияет на восприятие событий: через факты или через личные трагедии.

Тематически оба фильма затрагивают схожие аспекты исторической памяти: вина, воспроизводство прошлого в настоящем, последствия голода. Но степень радикализации памяти о прошлом различна. «Ашаршылык» фокусируется на коллективной трагедии в контексте общесоветской истории, избегая агрессивной терминологии (геноцид) и подчеркивая необходимость помнить ошибки прошлого. «Зулмат», напротив, акцентирует активную сторону памяти и требует политических действий, включая реституцию. Разница в тематике отражает конфликт между умеренной и радикальной версиями возвращения к событиям прошлого. Это подтверждает, что тематические акценты в документалистике служат инструментом политической борьбы за интерпретацию прошлого.

Реакция зрителей на фильмы варьируется от солидарности до резкой критики, что связано с их идеологической направленностью. Комментарии к «Ашаршылыку» преимущественно поддерживают авторскую позицию, выражают благодарность за освещение темы и призывают к сохранению в памяти. В случае с «Зулматом» дискуссии гораздо ожесточеннее: часть аудитории принимает трактовку геноцида, другая — отвергает ее как политизированную и антироссийскую. Поляризация отражает глубинный раскол в обществе по вопросу исторической памяти. Это доказывает, что документальное кино не только формирует мнение, но и обнажает существующие противоречия в восприятии трудного прошлого.

Сравнение фильмов показывает, что документальное кино является мощным инструментом борьбы за коллективную память. «Ашаршылык»



и «Зулмат» представляют два полюса в интерпретации голода — от умеренного осуждения советской политики до радикального требования признать геноцид. Различия в нарративах, персонажах и тематике приводят к разным моделям восприятия: рационально-академической и эмоционально-политизированной. Отклики аудитории подтверждают, что такие фильмы не просто информируют, но и формируют идентичность и политические взгляды. Таким образом, наш анализ подтверждает, что документалистика играет ключевую роль в символически-конкурентной борьбе за прошлое, где каждая сторона стремится закрепить свою версию истории как доминирующую.

Литература / References

Абылхожин Ж. Б., Акулов М. Л., Цай А. В. Живая память. Сталинизм в Казахстане — Прошлое, Память, Преодоление. А.: ДайкПресс, 2019.

Abylkhozhin Zh., Akulov M. L., Caj A. V. (2019) *Zhivaya pamyat. Stalinizm v Kazakhstane — Proshloye, Pamyat, Preodoleniye* [Living Memory. Stalinism in Kazakhstan — Past, Memory, Overcoming]. Almaty: DaykPress. (In Russ.)

Ассман А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика. М.: Новое литературное обозрение, 2018.

Assman A. (2018) *Dlinnaya ten proshlogo: memorialnaya kultura i istoricheskaya politika* [The Long Shadow of the Past: Memorial Culture and History Politics]. Moscow: Novoye literaturnoye obozreniye. (In Russ.)

Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004.

Assman J. (2004) *Kulturnaya pamyat: pismo, pamyat o proshlom i politicheskaya identichnost v vysokikh kulturakh drevnosti* [The Cultural Memory: Writing, Memory of the Past, and Political Identity in the Ancient World Cultures]. Moscow: Yazyki slavyanskoj kultury. (In Russ.)

Варфоломеев Е. А. Политическое использование темы голода 1932–1933 гг. в Республике Казахстан: фрейм-анализ публичных выступлений властвующей элиты // Вестник Пермского университета. Политология. 2023. Т. 17. № 3. С. 65–74. DOI: <https://doi.org/10.17072/2218-1067-2023-3-65-74>

Varfolomeyev Ye. A. (2023) Instrumentalization of the Subject of the Famine of 1932–1933 in the Republic of Kazakhstan: Frame Analysis of Public Speeches of the Republic's Leadership. *Vestnik Permskogo Universiteta. Politologiya* [Bulletin of Perm University. Political Science]. Vol. 17. No. 3. P. 65–74. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.17072/2218-1067-2023-3-65-74>

Волкова Е. Д., Хлевнюк Д. О. «Московское чудо»: репрезентация образа «девяностых» в передаче «Намедни» // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2023. Т. 15. № 1. С. 9–26. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2023.15.1.1> EDN: MTFKTP

Volkova E. D., Khlevnyuk D. O. (2023) "The Moscow Miracle": A Representation of the "Nineties" in the TV Program "Namedni". *Interaktsiya. Intervyu. Interpretatsiya* [Interaction. Interview. Interpretation.]. Vol. 15. No. 1. P. 9–26. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2023.15.1.1>

Галиев А. А. Отражение советской истории в политике памяти современного Казахстана // Мир Большого Алтая. 2016. Т. 2. № 3. С. 430–440. EDN: XXJNCT

Galiyev A. A. (2016) Reflection of Soviet History in the Memory Policy of Modern Kazakhstan. *Mir Bolshogo Altaya* [The World of the Great Altai]. Vol. 2. No. 3. P. 430–440. (In Russ.)

Киндлер Р. Сталинские кочевники: власть и голод в Казахстане. М.: Политическая энциклопедия, 2017. С. 331–340.

Kindler R. (2017) *Stalinskiye kochevniki: vlast i golod v Kazakhstane* [Stalin's Nomads: Power and Famine in Kazakhstan]. Moscow: Politicheskaya entsiklopediya. P. 331–340. (In Russ.)

Ключарева В. В., Корусенко С. Н. Модернизация исторической памяти и национальной идентичности в Республике Казахстан: средства формирования и трансляции // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2023. Т. 62. № 3. С. 193–204. DOI: <https://doi.org/10.20874/2071-0437-2023-62-3-17> EDN: GMAEFI

Klyuchareva V.V., Korusenko S.N. (2023) Modernization of the Historical Memory and National Identity in the Republic of Kazakhstan: A Means of the Formation and Transmission. *Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii* [Bulletin of Archeology, Anthropology and Ethnography]. Vol. 62. No. 3. P. 193–204. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.20874/2071-0437-2023-62-3-17>

Кондрашин В. В. Голод 1932–1933 годов: трагедия российской деревни. М.: Политическая энциклопедия, 2018. С. 378–379.

Kondrashin V.V. (2018) *Golod 1932–1933 godov: tragediya rossiyskoy derevni* [Famine of 1932–1933: The Tragedy of the Russian Village]. Moscow: Politicheskaya entsiklopediya. P. 378–379. (In Russ.)

Малинова О. Ю. Коммеморация столетия революции(й) 1917 года в РФ: сравнительный анализ соперничающих нарративов // Полис. Политические исследования. 2018. № 2. С. 37–56. DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.02.04> EDN: YTZLUL

Malinova O. Yu. (2018) The Commemoration in Russia of the Centenary of the 1917 Revolution(s): Comparative Analysis of Rival Narratives. *Polis. Politicheskije issledovaniya* [Polis. Political Studies]. No. 2. P. 37–56. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.02.04>

Медеуова К. А., Сандыбаева У. М., Наурызбаева З. Ж., Толгамбаева Д. Т., Ермаганбетова К. С., Мельников Д. Н., Кикимбаев М. Ж., Рамазанова А. Ч., Тлепберген А. Б., Жетибаев Е. Ж., Оразбаева Д. Е., Полтавец К. А. Практики и места памяти в Казахстане: монография. А.: ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, 2017.

Medeuova K. A., Sandybaeva U. M., Naurzbaeva Z. Zh., Tolgambaeva D. T., Ermaganbetova K. S., Melnikov D. N., Kikimbaev M. Zh., Ramazanova A. Ch., Tlepbergen A. B., Zhetibaev E. Zh., Orazbaeva D. E., Poltavec K. A. (2017) *Praktiki i mesta pamyati v Kazahstane: monografiya* [Practices and Places of Memory in Kazakhstan: Monograph]. Astana: ENU im. L. N. Gumilyov. (In Russ.)

Михайлов В. Ф. Хроника великого джута. А.: ЖАЛЫН, 1996.

Mikhaylov V.F. (1996) *Khronika velikogo dzhuta* [Chronicle of the Great Dzhut]. Almaty: ZHALYN. (In Russ.)

Омарбеков Т. Голодомор в Казахстане: причины, масштабы и итоги (1930–1933 гг.): хрестоматия. А.: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2011. EDN: YQXQYL

Omarbekov T. (2011) *Golodomor v Kazahstane: prichiny, masshtaby i itogi (1930–1933 gg.): khrestomatiya* [Holodomor in Kazakhstan: Causes, Scale and Results (1930–1933): A Reader]. Almaty: Kazaxskij nacionalnyj universitet im. al-Farabi. (In Russ.)

Поцелуев С. П. Символическая политика как инсценирование и эстетизация // Полис. Политические исследования. 1999. № 5. С. 62–75.

Potseluev S.P. (1999) Symbolic Politics as Staging and Aestheticization. *Polis. Politicheskije issledovaniya* [Polis. Political Studies]. No. 5. P. 62–75. (In Russ.)

Пронин А. А. Mass-док: презумпция нарративности. СПб.: ООО Издательский дом «Петрополис», 2017. EDN: YSPTAN

Pronin A.A. (2017) *Mass-dok: prezumptsiya narrativnosti* [Mass-doc: Presumption of Narrativity]. St. Petersburg.: ООО Izdatelskiy dom "Petro-polis". (In Russ.)

Родионова О. В. Образ ВОВ в кинематографе как отражение культурно-исторической памяти и механизм самоидентификации // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2017. № 1. С. 146–167. EDN: YRZDAP

Rodionova O.V. (2017) The Image of the Second World War in Cinema as a Reflection of Cultural-Historical Memory and the Mechanism of Self-Identification. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarnyye nauki* [Vestnik of Moscow State Linguistic University. Humanities]. No. 1. P. 146–167. (In Russ.)



Якимов А. Е. Особенности разграничения кинематографа на документальный и игровой в контексте проблемы репрезентации повседневности // Общество: философия, история, культура. 2021. № 9. С. 26–32. DOI: <https://doi.org/10.24158/fik.2021.9.4> EDN: VJNIWS

Yakimov A. E. (2021) Specifics of the Distinction between Documentary and Fiction Cinematography in the Context of the Representational Issue of Daily Life. *Obshchestvo: filosofiya, istoriya, kultura* [Society: Philosophy, History, Culture]. No. 9. P. 26–32. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.24158/fik.2021.9.4>

Ashuri T. (2005) The Nation Remembers: National Identity and Shared Memory in Television Documentaries. *Nations and Nationalism*. Vol. 11. No. 3. P. 423–442. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1354-5078.2005.00212.x>

Aufderheide P. (2007) *Documentary Film: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.

Bradbury J., Guadagno R. (2021) Documentary Narrative Visualization: Features and Modes of Documentary Film in Narrative Visualization. *Information Visualization*. Vol. 19. No. 4. P. 339–352. DOI: <https://doi.org/10.1177/1473871620925071>

Cameron S. (2018) *The Hungry Steppe: Famine, Violence, and the Making of Soviet Kazakhstan*. New York: Cornell University Press. DOI: <https://doi.org/10.1515/9781501730443>

Dixon J. (2018) *Dark Pasts: Changing the State's Story in Turkey and Japan*. Ithaca: Cornell University Press.

Dukeyev B. (2023) Representation of the Kazakhstani Famine (1931–33) in Secondary School History Textbooks, 1992–2021. *Central Asian Survey*. Vol. 42. No. 2. P. 383–401. DOI: <https://doi.org/10.1080/02634937.2022.2152778>

Gill G. (2011) *Symbols and Legitimacy in Soviet Politics*. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511791437>

Finkel E. (2010) In Search of Lost Genocide: Historical Policy and International Politics in Post-1989 Eastern Europe. *Global Society*. Vol. 24. No. 1. P. 51–70. DOI: <https://doi.org/10.1080/13600820903432027>

Foucault M. (1975) Film and Popular Memory: An Interview with Michel Foucault. *Radical Philosophy*. No. 11. P. 24–29.

Ohayon I. (2004) Du campement au Village: Sédentarisation et Transformations de L'aoul Kazakh à la Période Soviétique. *Cahiers d'Asie Centrale*. Vol. 13/14. P. 177–198.

Pianciola N. (2001) *The Collectivization Famine in Kazakhstan, 1931–1933*. Harvard: Harvard Ukrainian Studies. Vol. 25. No. 3. P. 237–251.

Rutland P. (2023) Thirty Years of Nation-Building in the Post-Soviet States. *Nationalities Papers*. Vol. 51. No. 1. P. 14–30. DOI: <https://doi.org/10.1017/nps.2021.94>

Sturken M. (1997) *Tangled Memories. The Vietnam War, the AIDS Epidemic, and the Politics of Remembering*. Berkeley: University of California Press.

Weiss-Wendt A. (2005) Hostage of Politics: Raphael Lemkin on “Soviet Genocide”. *Journal of Genocide Research*. Vol. 7. No. 4. P. 551–559. DOI: <https://doi.org/10.1080/14623520500350017>

Сведения об авторе:

Варфоломеев Егор Алексеевич — аспирант, аспирантская школа по политическим наукам, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия. **E-mail:** egor_varf@mail.ru. **ORCID ID:** [0000-0001-5349-9448](https://orcid.org/0000-0001-5349-9448); **ResearcherID:** [ABE-3755-2021](https://orcid.org/ABE-3755-2021).

Статья поступила в редакцию: 23.08.2024

Принята к публикации: 25.08.2025

БАК 5.4.4.



The 1932–1933 Famine in the Documentary Cinema of the Republic of Kazakhstan: An Analysis of Competing Narratives

DOI: 10.19181/inter.2025.17.3.1

Egor A. Varfolomeev HSE University, Moscow, Russia
E-mail: egor_varf@mail.ru

The article examines the competing narratives about the 1932–1933 famine in Kazakhstan, promoted by different mnemonic actors through documentary cinema. The aim of the study is to identify the differences in the representation of this historical trauma by comparing two films: “Asharshylyk” and “Zulmat”. The author conducts a narrative analysis, examining the thematic repertoire, narrative techniques, and visual strategies, as well as performing an analysis of audience reception based on YouTube user comments. The research demonstrates both common elements and fundamental divergences in the cinematic interpretations of this historical fact, which reflect ideological and historiographical controversies and the positions of specific actors. It is concluded that documentary cinema can serve as a significant tool in the struggle for collective memory, and the analysis of audience responses helps to identify current trends in the perception of this tragic event.

Keywords: Republic of Kazakhstan; politics of memory; political use of the past; narratives; famine of 1932–1933; documentary films

Author Bio:

Egor A. Varfolomeev — Graduate Student, Doctoral School of Political Science, HSE University, Moscow, Russia. **E-mail:** egor_varf@mail.ru. **ORCID ID:** 0000-0001-5349-9448; **ResearcherID:** ABE-3755-2021.

Received: 23.08.2024

Accepted: 25.08.2025

Полевые исследования



DOI: 10.19181/inter.2025.17.3.2
EDN: ZQUXKW

«Очернить светлое и чистое, обелить темное и грязное»: представления россиян о потенциальных рисках фейковых новостей¹

Ссылка для цитирования:

Казун А. Д. «Очернить светлое и чистое, обелить темное и грязное»: представления россиян о потенциальных рисках фейковых новостей // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2025. Т. 17. № 3. С. 35–54. <https://doi.org/10.19181/inter.2025.17.3.2> EDN: ZQUXKW

For citation:

Kazun A. D. (2025) "To Tarnish the Pure and Illuminate the Tainted": Russian Perceptions of the Potential Risks of Fake News. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 17. No. 3. P. 35–54. <https://doi.org/10.19181/inter.2025.17.3.2>



Казун Анастасия Дмитриевна

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
Москва, Россия

E-mail: adkazun@hse.ru

В статье обсуждаются результаты исследования представлений россиян о возможных социальных последствиях распространения фейковых новостей. Изучение обыденных представлений о подобных рисках является важным, поскольку такие убеждения имеют реальные последствия и могут формировать поведение. В ходе полуструктурированных интервью (119 интервью, 2024 год) информанты проблематизировали распространенность фейковых новостей в современном мире и описывали широкий спектр возможных негативных последствий дезинформации, которые можно условно разделить на три группы угроз для общественной жизни: угрозы социальной солидарности; риски, связанные с индивидуальным благополучием; воздействие на функционирование социальных институтов. В первом случае речь идет об опасности политической дестабилизации, возникновения межгрупповых и межличностных конфликтов. Угрозы индивидуальному благополучию понимаются

¹ Исследование поддержано Российским научным фондом (РНФ), грант № 23–78–01206 // Российский научный фонд. URL: <https://rscf.ru/project/23-78-01206/>

информантами как риски недостоверной информации для ментального и/или физического здоровья людей. Негативное влияние фейковых новостей на функционирование социальных институтов (например, медиасферу, институт выборов) обсуждается информантами менее интенсивно и менее эмоционально. Можно предположить, что информанты, оценивая последствия фейковых новостей, используют уже готовые шаблоны отношения к возможным рискам, к которым относятся сценарии паники («нас пугают»), раскола («нас хотят поссорить») и манипуляции. Представления информантов о рисках дезинформации формируются на пересечении личного опыта переживания значимых событий последних лет (пандемия COVID-19, начало специальной военной операции, экономические колебания), публичных дискуссий, которые предоставляют язык для осмысления проблемы и формируют уверенность в высокой распространенности фейков, а также более общих социально-культурных тенденций, к которым относятся распространение терапевтической культуры, поляризация и фрагментация общества. В целом представления о последствиях фейковых новостей являются контекстуальными и часто описываются на примере текущих событий.

Ключевые слова: фейковые новости; дезинформация; потребление новостей; доверие к медиа; релятивизм фактов; медиаэффекты

Введение

Недостоверная информация играла заметную роль на протяжении всей истории человечества [Taylor, 2013]. Однако после 2016 года данная проблема получила новое имя — фейковые новости², под которыми обычно понимается намеренно недостоверный информационный контент, поданный в новостном формате [Egelhofer, Lecheler, 2019]. Тогда же этот вопрос начал активно обсуждаться как угроза для общества [Lazer et al., 2018].

В литературе рассматривается широкий спектр негативных эффектов, которые могут возникнуть в результате распространения дезинформации, похожей на новости. В частности, исследователи обращают внимание, что воздействие ложной информации способствует росту политического цинизма [Jones-Jang et al., 2021; Lee, Jones-Jang, 2024], ухудшению отношения к конкретным политикам [Dobber et al., 2020] и меньшей удовлетворенности состоянием демократии³ [Ross et al., 2022]. В контексте пандемии COVID-19 было выявлено, что фейковые новости влияют на общественное здоровье,

² Данный термин возник в контексте президентских выборов в США в 2016 году и очень быстро получил широкое распространение, став в 2017 году словом года по версии издательства Harper Collins. Более подробно концептуальные границы термина «фейковые новости», в том числе его отличие от других форм недостоверной информации обсуждались ранее в обзорной статье [Казун, 2020].

³ Nisbet E. C., Mortenson C., Li Q. (2021) The Presumed Influence of Election Misinformation on Others Reduces Our Own Satisfaction with Democracy. *Harvard Kennedy School Misinformation Review*. DOI: <https://doi.org/10.37016/mr-2020-59>



снижая готовность вакцинироваться [Ahmed et al., 2022] и неблагоприятно воздействуя на поведение людей [Greene, Murphy, 2021]. Разумеется, дезинформация и общественное обсуждение данной проблемы сказываются и на индустрии медиа. Дискуссия о фейковых новостях и восприятие дезинформации как распространенного явления [Dalen, 2019; Hameleers et al., 2022; Lee et al., 2023], а также обвинения медиа в трансляции фейков, поступающие со стороны политиков [Egelhofer et al., 2022], подрывают доверие к информационным ресурсам. Ощущение дезинформированности способствует чувству усталости от новостей и их избеганию [Hasell, Halversen, 2024]. Кроме того, связанный с дезинформацией антимедийный дискурс может провоцировать случаи насилия по отношению к журналистам [Mazzaro, 2023]. Таким образом, можно предположить, что фейковые новости угрожают различным сферам — политической, информационной, связанной со здравоохранением и т. д.

На первый взгляд потенциальные последствия распространения дезинформации делают особенно важным привлечение внимания к проблеме. Однако у общественной дискуссии относительно фейковых новостей есть свои темные стороны. Отдельные исследователи подчеркивают, что соответствующие обсуждения приобретают характер моральной паники [Carlson, 2020; Miró-Llinares, Aguerri, 2023]. В этой связи появляются призывы пересмотреть понимание фейков как угрозы [Miró-Llinares, Aguerri, 2023]. Отчасти возникновение подобной риторики можно объяснить превращением фейковых новостей в оружие (weaponization of fake news), когда соответствующий термин начинает использоваться для обвинения политических оппонентов с целью их дискредитации [Dehghan, Glazunova, 2021; Farkas, Schou, 2018; Tong et al., 2020]. В частности, в тогдашнем Twitter и сторонники, и противники Трампа использовали хештег #FakeNews для атаки на другую сторону, для усиления собственной позиции и запутывания проблемы [Berry et al., 2023]. Кроме того, политики могут использовать обвинения в распространении фейковых новостей, чтобы избежать скандалов. Причем такая стратегия оказывается более выигрышной, чем молчание или признание вины с последующими извинениями [Schiff et al., 2024]. Одновременно с этим, чрезмерное внимание к фейковым новостям в публичной сфере может привести к снижению доверия к достоверной информации [van der Meer et al., 2023]. В этом случае информационная кампания, направленная на борьбу с дезинформацией, будет иметь обратный эффект.

По способу влияния эффекты фейковых новостей можно разделить на два вида. Первый — непосредственное воздействие дезинформирующего контента, которое может приводить к формированию ложных убеждений и принятию решений на их основе. Как результат, это означает разрушение идеала информированного гражданина. Второй — ущерб могут наносить не сами фейки, а публичная дискуссия по данному вопросу и использование этого термина в качестве ярлыка, нацеленного на дискредитацию политических оппонентов или медиаресурсов. Во многом именно обсуждение фейковых новостей, а не ложная информация как таковая, подрывает доверие к институтам и политикам, приводя к распространению релятивизма фактов. Таким

образом, нужно разделять негативные эффекты фейков (прямое влияние) и негативные эффекты дискуссии о фейках (опосредованное влияние). В любом случае, значение имеет не сама информация, а убеждения, которые формируются на основе потребления новостей, как фейковых, так и достоверных, а также в ходе публичной дискуссии об опасности фейков.

Обыденное мышление (*common sense thinking*) представляет собой набор культурных рецептов, которые позволяют действовать, не прибегая к проверке каждого утверждения. А. Шюц описывал обыденное мышление как основной инструмент, необходимый для того, чтобы ориентироваться в повседневной реальности [Schütz, 1953; Gros, 2017]. Такие рецепты закрепляются коллективно, через межличностную коммуникацию и социальные институты, превращаясь в то, что кажется самоочевидным [Berger, Luckmann, 1966]. Поэтому ярлыки «правда», «ложь» и «фейк» выступают, прежде всего, первичными практическими сигналами, помогающими быстро сориентироваться в условиях информационного избытка. Соответственно, прежде чем бороться с дезинформацией, следует понять, какими повседневными знаниями люди уже располагают, как именно они сортируют информационные сообщения на свои и чужие, истинные и ложные, и какие опасения у них вызывает недостоверный контент.

Фейковые новости в общественном восприятии

Поскольку проблема фейковых новостей стала частью публичной дискуссии, у населения начали складываться свои воззрения относительно данного явления, которые нередко существенно отличаются от интерпретаций, предлагаемых академическим сообществом, журналистами или политиками. В частности, информационные ресурсы, которые не соответствуют взглядам индивида, могут маркироваться как распространители фейков. Например, в США либералы ассоциировали с фейковыми новостями Fox News, а консерваторы — CNN [van der Linden et al., 2020]. Примечательно, что такая политическая предвзятость наблюдается на обоих концах идеологического спектра [Ditto et al., 2018] и отражается на оценке достоверности информационных ресурсов [Stroud, Lee, 2013]. В целом, аудитория начинает рассматривать фейковые новости не с объективной точки зрения — как проверяемое и доказуемое отклонение от истины, а с позиции моральных оснований. Проводится разделение между своей группой, в которую входят «честные» люди, и другими, которые видятся неграмотными и морально неполноценными [Hameleers, 2020]. Подобное понимание существенно отклоняется от приведенного ранее определения фейковых новостей, используемого исследователями. Фейковые новости зачастую рассматриваются аудиторией не как проверяемое несоответствие информации объективной реальности, а как контент, не совпадающей с индивидуальными убеждениями.

Общественные представления о феномене фейковых новостей оказываются важны в связи с эффектом влияния предполагаемого влияния (*influence*



of presumed influence) [Gunther, Storey, 2003] — ситуацией, при которой представления о влиянии медиа на те или иные стороны жизни оказывают воздействие на поведение людей [Rojas, 2010]⁴. В частности, восприятие фейков как серьезной проблемы напрямую связано с использованием фактчекинга и доверием к соответствующим ресурсам [Park, 2024], а уверенность в том, что дезинформация влияет на самого человека и на других людей, коррелирует с поддержкой мер регулирования данной области, с отказом от социальных сетей и обмена информацией в онлайн-пространстве [Lee, 2021]. При этом, по-видимому, большее значение имеет не оценка степени распространенности различных форм дезинформации, а оценка ее вреда [Freiling et al., 2023].

Имеющиеся количественные данные позволяют предположить, что проблема фейковых новостей привлекает значительное общественное внимание и оценивается как масштабная и значимая. Так, в 2019 году в США 38% опрошенных указывали, что они часто сталкиваются с таким контентом, а еще 51% полагали, что это происходит регулярно⁵. Данное исследование также показало, что проблема недостоверной информации воспринимается острее, чем ряд других — расизм, терроризм, изменения климата, нелегальная миграция и т. д. Аналогичные результаты были получены и в России. По данным ВЦИОМ, в ноябре 2023 года 40% россиян утверждали, что сталкивались с новостями, которые впоследствии оказались недостоверными⁶. Другое исследование показало, что в Республике Мордовия, 51% жителей, по их мнению, сталкиваются с фейковыми новостями по крайней мере несколько раз в месяц [Ушкин, 2024]. Россия представляет собой важный кейс с точки зрения изучения восприятия фейковых новостей, так как страны с высокой поляризацией и низким доверием к медиа менее устойчивы к такому контенту [Humprecht et al., 2020]. Наличие у граждан выраженной политической идентичности может препятствовать распознаванию фейковых новостей, ослабляя позитивные эффекты медиаграмотности [Sude et al., 2023].

Исследования по проблематике фейковых новостей, основанные на материалах интервью или фокус-групп, относительно немногочисленны [Broda, Strömbäck, 2024], а дискуссия о последствиях дезинформации ведется скорее в объективистском ключе. Однако растущее внимание общественности к данной проблеме и значимость представлений населения о распространенности фейковых новостей и связанных с ними угрозах делают важным рассмотрение их субъективного восприятия аудиторией. Данное исследование направлено на более детальный анализ опасений россиян относительно фейковых новостей.

⁴ Например, люди, которые считают, что основная опасность фейковых новостей связана с их угрозами для здоровья, могут прикладывать больше усилий для проверки достоверности информации по данной теме. Те же, кто уверен в своей относительной защищенности от дезинформации, могут уделять меньше внимания верификации новостей.

⁵ Mitchell A., Gottfried J., Stocking G., Walker M., Fedeli S. (2019) Many Americans Say Made-Up News Is a Critical Problem That Needs to Be Fixed. *Pew Research Center*. URL: <https://www.pewresearch.org/journalism/2019/06/05/many-americans-say-made-up-news-is-a-critical-problem-that-needs-to-be-fixed/> (дата обращения: 18.08.2025)

⁶ Фейк-ньюс — и как с ними бороться? Обеспокоенность россиян информационной (не) безопасностью растет // ВЦИОМ. 2023. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor-feik-njus-i-kak-s-nimi-borotsja> (дата обращения: 18.08.2025).

Методология

Эмпирическое исследование субъективного восприятия аудиторией фейковых новостей основано на 119 полуструктурированных интервью со средней продолжительностью в 46 минут. Для того, чтобы обеспечить гетерогенность эмпирической базы исследования и охватить информантов с разнообразным жизненным опытом, была использована квотная выборка. Мы стремились отобрать людей с разными социально-демографическими характеристиками, политическими взглядами и уровнем вовлеченности в потребление новостного контента. При рекрутинге в первую очередь котируются такие параметры, как пол, возраст и уровень вовлеченности в новости. Однако в ходе интервью также фиксировались другие характеристики, позволяющие оценить гетерогенность выборки.

В итоге эмпирическая база включает информантов с разным уровнем погруженности в новости: 30 человек оценивали свою вовлеченность как низкую, 42 — как среднюю и 47 — как высокую. Возраст участников варьируется от 16 до 75 лет, в их числе 62 женщины и 57 мужчин. Среди информантов преобладают люди, имеющие высшее образование или находящиеся в процессе его получения. Тем не менее, 12 информантов имеют только среднее или среднее профессиональное образование. С точки зрения профессиональной деятельности, интервьюируемая выборка разнородна. В число информантов вошли люди, работающие в самых разных областях, например, воспитатель детского сада, врач скорой помощи, учитель физкультуры, бухгалтер, предприниматель, инженер, UX-исследователь, фрилансер в IT, строитель, машинист, парикмахер и т. д., а также студенты, домохозяйки и пенсионеры. Примерно половина информантов проживают в Москве (59 человек), другие интервьюируемые представляют иные населенные пункты, преимущественно города (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Пермь, Оренбург, Владивосток, Тверь, Сочи, Краснодар, Междуреченск, Барнаул, Рязань и т. д.).

Таким образом, при формировании выборки предполагалось обеспечить представленность информантов с разнообразным жизненным опытом и убеждениями. Поскольку предшествующие исследования демонстрируют различие представлений о фейковых новостях в зависимости от политической позиции, данный параметр также имело смысл контролировать. Однако в современной России прямые вопросы по данной теме являются чувствительными и могут вызывать у информантов дискомфорт и нежелание продолжать участие в интервью. Поэтому политические взгляды интервьюируемых, которые важны для интерпретации их нарративов, были реконструированы на основании информации об используемых ими источниках информации, а также их высказываний о тех или иных событиях повестки дня. Тем не менее, я не указываю соответствующую информацию после приводимых в эмпирической части статьи цитат, поскольку это было бы неэтично по отношению к людям, которые сами не маркировали себя соответствующим образом в ходе интервью.



Полевой этап исследования проходил в период с марта по май 2024 года. В этот временной промежуток произошло несколько значимых событий, активно освещавшихся в СМИ: выборы президента России (15–17 марта), теракт в «Крокус Сити Холл» (22 марта) и наводнение на Урале (начало апреля). Эти события оказали влияние на содержательную часть интервью, поскольку информанты часто ссылались на примеры из текущей медиаповестки при обсуждении фейковых новостей.

Гайд интервью состоял из вопросов относительно понимания термина «фейковые новости» и его границ (в том числе представлений о том, кто распространяет дезинформацию, в каких ресурсах она наиболее часто встречается, каким темам преимущественно посвящены фейки и т. д.), опыта столкновения с фейковыми новостями, подходов к верификации информации и представлений о возможных негативных эффектах фейковых новостей. Таким образом, часть вопросов непосредственно относились к опыту информантов, а часть носили более абстрактный характер. Отмечу, что в исследовании я не рассматриваю информантов как экспертов, дающих объективную оценку связанным с дезинформацией угрозам. В фокусе внимания находятся именно воспринимаемые риски, которые не обязательно должны соответствовать экспертным оценкам, академическим исследованиям или объективной действительности. Подобные обыденные представления составляют фокус интереса, поскольку, воспринимая потенциальные риски как реальные, люди начинают вести себя так, как если бы они были реальны.

Информанты свободно оперируют понятием «фейковые новости» вне зависимости от возраста и вовлеченности в новостной дискурс. Однако народные определения данного термина существенно отличаются от академических. Так, наблюдается тенденция к расширенной трактовке понятия. К примеру, фейки могут отождествляться с пропагандой, слухами или конспирологией. В эмпирической части работы я буду понимать рассматриваемый феномен в соответствии с расширенной трактовкой этого термина информантами.

В некоторых случаях к фейковым новостям относились также посты мошенников в социальных сетях и контент, производимый инфоцыганами. Но такая информация, даже если является недостоверной, не имеет новостного формата, поэтому было решено исключить из анализа рассуждения об опасности дезинформации как таковой, без учета новостной составляющей. Соответственно, в эмпирической части статьи я оперирую расширенной трактовкой фейков, содержащейся в ответах информантов, исключая из нее наименее релевантные для академического понимания термина примеры. При анализе не рассматриваются кейсы интерпретации фейков, не имеющие отношения к новостям (например, телефонное мошенничество), однако случаи отождествления с фейковыми новостями пропаганды или слухов в отношении общественно-политических событий остаются в фокусе внимания. Таким образом, термин «фейковые новости» понимается в эмпирической части исследования содержательно близко к более широкому концепту дезинформации.

При анализе данных использовалось тематическое кодирование. На первом этапе в каждом интервью были выделены приписываемые фейковым

новостям риски. Далее, сформулированные на языке информантов угрозы были объединены в более крупные категории на основании их сходства. Большой объем эмпирического материала позволил чувствовать себя уверенно при выделении обобщающих категорий, поскольку каждая из них оказалась наполненной, рассуждения неоднократно повторялись. При интерпретации высказываний информантов также учитывался контекст интервью, примеры фейковых новостей, которые информант приводил до того, как разговор перешел к их потенциальным последствиям.

Результаты

Информанты активно проблематизируют феномен распространенности фейковых новостей, описывают широкий спектр негативных последствий дезинформации, которые будут рассмотрены далее. По мнению интервьюируемых, ложный контент может оказывать воздействие как на уровне отдельных людей, их здоровья, мировоззрения, эмоционального состояния, так и на уровне глобальных общественно-политических процессов внутри страны и на международной арене. Далее будут рассмотрены ключевые эффекты, приписываемые фейковым новостям.

Фейки как угроза солидарности

Наиболее часто в интервью фейковые новости рассматривались как причина **дезинтеграции**, затрагивающая как глобальный, так и межличностный уровни взаимодействия. Рассуждая о ситуации на макроуровне, информанты подчеркивали, что дезинформация способствует дестабилизации социальной и политической обстановки, провоцируя рост общественного недовольства, протесты, агрессию в отношении отдельных социальных групп. В центре внимания находятся два основных содержательных сюжета: политические конфликты и антииммигрантские настроения. Можно заключить, что это демонстрирует контекстуальность рассуждений информантов, поскольку внимание к проблеме межнациональных отношений тесно связано, в том числе и в анализируемых нарративах, с произошедшим в период полевого этапа исследования терактом в «Крокус Сити Холл».

«Истину и так сложно найти, а если весь мир будет усеян какими-то ложными ценностями, это очень пагубно повлияет на общество в целом. И так как население не хочет думать, не хочет анализировать, возможно вообще тотальное влияние фейковых новостей на умы населения. И тогда вот этой необразованной массой людей можно очень круто манипулировать. А это очень плохо. В том числе эти „оранжевые революции“, все это откуда? Из-за того, что людям мозг засоряют ненужной информацией. Поэтому, в принципе, для государства в целом это плохо» (Информант 100, ж., 55 лет).



«Прежде всего люди начинают становиться более агрессивными, если эти фейки направлены на другую сторону. Они становятся более агрессивными на любой стороне конфликта, если в физическом плане, конечно, конфликт происходит. Например, люди могут получить информацию о том, что люди одной национальности причастны к большому теракту, к большой трагедии. И от этого очень у многих людей появится запрос на насилие в сторону этой нации, что может привести к войнам, депрессиям и в целом к ненависти к одному народу, что приводит к ухудшению уровня жизни некоторых членов общества» (Информант 81, м., 19 лет).

Кроме того, информанты подчеркивают способность фейковых новостей **усиливать поляризацию** в обществе, формируя устойчивые идеологические размежевания. Это проявляется в тенденции к выборочному потреблению информации:

«Люди, как правило, из двух противоположных сторон [публичной дискуссии] читают только одну и только ей верят и никак не проверяют информацию» (Информант 22, ж., 20 лет).

Предполагается, что такое размежевание становится основой для межгрупповых конфликтов. При этом в подобных нарративах информанты всегда рассуждают о «других», не обращаясь к собственному опыту и не проблематизируя свою медиадиаету. Например, иногда размышления о важности использования разнородных источников информации для проверки их достоверности принадлежат людям, которые сами потребляют гомогенный контент.

Также предполагается, что фейковые новости провоцируют **межличностные конфликты**:

«Люди вместе вообще нормально общались, но почитали какие-то новости фейковые, один то почитал, другой то, все, спор, разлад, возможно, уже вражда» (Информант 65, м., 22 года).

Тем не менее такая интерпретация последствий фейковых новостей может рассматриваться, скорее, как подмена понятий. В реальности наблюдается тенденция интерпретировать фейковые новости как то, что противоречит индивидуальным убеждениям:

«...мне просто, наверное, кажется, что это неправда, противоречит моей идеологии, моему мировоззрению, поэтому я считаю, что это фейковые новости» (Информант 59, ж., 33 года).

Следовательно, конфликт возникает в поле идеологических расхождений, а не по причине фейковости самой новости. Люди из социального окружения,

имеющие иную позицию по тому или иному вопросу, воспринимаются как жертвы обмана, и конфликт с ними приписывается потреблению «неправильной» информации, хотя может иметь иные основания.

Фейки как угроза индивидуальному благополучию

Фейковые новости также рассматриваются в связи с **угрозами для здоровья населения**. По мнению информантов, дезинформация в медицинской сфере может дезориентировать людей, спровоцировать отказ от эффективных методов лечения или вакцинации. Вызванные фейковыми новостями заблуждения относительно здоровья и способов лечения проблематизируются, с одной стороны, по причине серьезных потенциальных последствий («*максимум — привести к летальному исходу*» (Информант 85, ж., 18 лет)), с другой — в силу представлений об устойчивости и длительном влиянии дезинформации даже при наличии опровержений («*Мне кажется, что та же вера в то, что можно лечиться чесноком [от COVID-19], она будет еще изживаться там десятилетиями. То есть он свое дело-то наделал, этот фейк*» (Информант 101, м., 55 лет)). Такое восприятие фейковых новостей, по-видимому, связано с опытом, полученным в ходе пандемии COVID-19, когда дезинформация о здоровье носила массовый характер, а внимание к медицинским вопросам было высоким.

Информанты рассуждают также о негативном влиянии фейков на **эмоциональное состояние людей**. Кроме того, в некоторых случаях акцентируется неблагоприятное воздействие на человека любых новостей, в том числе и достоверных, поскольку

«Процент плохих всяких новостей, фейков и не фейков, он значительно, мне кажется, в информационном поле превышает хорошие новости» (Информант 1, м., 19 лет).

При этом собственные эмоции от столкновения с дезинформацией описываются преимущественно сдержанно, а беспокойство высказывается относительно переживаний абстрактных других. В нарративах используется как повседневная разговорная лексика (*тревога, озабоченность, переживать, расстроиться, может кукуха поехать*), так и психотерапевтическая терминология (*психологический, психика, психическое состояние/здоровье, панические атаки, тревожность, депрессивный*).

«Это [фейковые новости] очень большая проблема, потому что повышается тревожность. И вообще это, на самом деле, очень острая проблема российского общества, когда у нас пенсионеры вместо того, чтобы, допустим, отдыхать, они просто читают новости и звонят своим там, не знаю, детям, внукам и говорят: „Ой, мне плохо там. Я это, то-то вычитал“. <...> Физически это утомляет людей, они становятся более депрессивные, менее продуктивные. И вообще качество жизни снижается» (Информант 65, м., 22 года).



Отдельно выделяются нарративы о том, что фейковые новости способны **вызвать панику**. Отчасти подобные рассуждения связаны с описанным выше эмоциональным воздействием. Однако, если неблагоприятное воздействие фейков на настроение и ментальное здоровье обычно рассматривается как проблемное само по себе, то вызванная фейками паника проблематизируется в связке с деструктивными действиями, совершенными под влиянием негативных эмоций. Рассуждая о панических реакциях под влиянием дезинформации, информанты, как правило, связывают их с экономическими решениями людей, такими как финансовые операции (покупка валюты, снятие денег со счетов в банках) или ажиотажный спрос на отдельные категории товаров.

«Если будут из каждого утюга говорить, что, к примеру, доллар будет 200 рублей стоить, то как оглашенные побегут скупать... Какое-то влияние на экономику. Еще кто-то скажет, что "вот в этом году у нас опять катастрофический неурожай гречки, 500 рублей за килограмм будет стоить", все побегут скупать, как будто кроме этой гречки ничего не ели. В любом случае какой-то эффект от тех или иных новостей, я думаю, будет. Все зависит от того, на кого эта новость будет нацелена, то есть кто будет затронут. В любом случае всегда будут люди, которые поддадутся на эту новость и будут совершать те действия, наверное, которые от них хотят» (Информант 115, м., 34 года).

Информанты объясняют, что ожидают именно такой реакции населения на нагнетаемую в медиасреде панику, поскольку наблюдали за действиями окружающих во время недавних кризисов.

«Мне кажется, финансовые могут быть какие-то проблемы, если будет серьезная фейковая новость о том, что рубль упал очень сильно, и что нужно всем срочно снимать деньги, как это было, мне кажется, в 22 году, когда началась специальная военная операция, все стали снимать деньги» (Информант 48, ж., 20 лет).

Вместе с тем фейковые новости могут рассматриваться как **причина утраты критического мышления и агентности**, которые воспринимаются как имманентно присущие людям. Последствия воздействия дезинформации в данном случае описываются в терминах потери: *«потеря каких-то своих убеждений»* (Информант 19, ж., 18 лет), *«лишают человека критического мышления, лишают человека возможности смотреть на мир под разными углами»* (Информант 37, м., 21 год), *«жизнеспособность мозга утрачивается»* (Информант 71, ж., 54 года), *«деградация общественного сознания»* (Информант 65, м., 22 года).

Информанты исходят из того, что способность мыслить самостоятельно и критически оценивать реальность свойственна людям, однако может быть разрушена под влиянием фейковых новостей, в результате которых формируется *«мировоззрение, которое масштабно фейковое»* (Информант 36, м.,

18 лет) или складывается «*неверная картина восприятия мира*» (Информант 79, м., 18 лет). Недостоверные новости «*заставляют людей принимать определенные решения*» (Информант 28, м., 48 лет), которые интерпретируются не как личный выбор, а как управляемое поведение под влиянием манипулирования. Жертвы фейков воспринимаются как лишенные агентности, неосознанно действующие в интересах определенных групп, которые могут противоречить общественным интересам.

Фейки как угроза социальным институтам

Фейковые новости также могут ассоциироваться с **угрозами публичной сфере**. Информанты отмечают, что распространение противоречивых версий событий дезориентирует аудиторию, подрывая доверие к информационному контенту в целом. Подчеркивается, что в таких условиях публичная сфера не может функционировать как пространство для дискуссий и формирования консенсуса, а недоверие к публичным фигурам и представителям власти возрастает. Кроме того, распространение получает релятивизм, когда факты начинают рассматриваться как вопрос мнений, а не доказательств [Van Aelst et al., 2017]. В результате люди воспринимают как истину то, что им кажется правдивым [Manjoo, 2008], не обращаясь к анализу и верификации, разочаровываются в самой возможности получить хоть сколько-то достоверную информацию.

«Люди, которые слышат 20 различных версий происходящего: произошло то, произошло се, произошло третье... Даже если какая-то из этих версий может быть и правильная, они могут в итоге оказаться либо очень сильно дезориентированными, либо вообще утратить веру в то, что какие-то достоверные факты вообще возможны или их возможно установить» (Информант 6, м., 35 лет).

Хотя в литературе часто подчеркивается значимость массовых коммуникаций для демократии и **электорального поведения**, данный сюжет слабо отражен в нарративах наших информантов, даже несмотря на проходившие в тот момент выборы президента. В некоторых интервью говорится, что «*фейки могут повлиять на выборы в стране*» (Информант 104, м., 20 лет), побудить «*отдать свой голос за партию или кандидатов в президенты, поверив тому, что ему сказали, а этот кандидат или эта партия окажутся, не знаю, крайне агрессивными*» (Информант 80, ж., 53 года). Тем не менее, другие связанные с распространением дезинформации тревоги упоминаются информантами гораздо чаще и, как правило, описываются более развернуто и эмоционально. Отчасти это может быть отражением невысокого интереса к политике. В частности, согласно данным ФОМ, только 30% россиян в 2023 году проявляли высокую заинтересованность в политических новостях⁷.

⁷ Новостная информация и телевидение. Новостные и аналитические программы на ТВ: отношение и предпочтения россиян // Фонд Общественное Мнение. 2023. URL: <https://fom.ru/SMI-i-internet/14902> (дата обращения: 18.08.2025).



Обсуждение результатов

По итогам анализа интервью можно выделить три группы негативных эффектов, приписываемых фейковым новостям:

- (1) угроза солидарности, которая рассматривается информантами на уровнях государства (протесты, «оранжевые революции»), социума (межгрупповые конфликты, например, агрессия по отношению к мигрантам) и межличностных отношений (конфликты в социальном окружении);
- (2) угроза индивидуальному благополучию, включающая последствия для физического и ментального здоровья людей;
- (3) угроза социальным институтам, в частности медиасфере и институту выборов, которая, однако, артикулируется информантами менее активно.

Люди, попавшие под влияние фейков, могут характеризоваться как принимающие неверные решения и совершающие деструктивные действия (например, паническое потребление) либо как пассивные жертвы манипуляций, утратившие свою агентность. Ответственность за поведение под влиянием фейковых новостей по-разному распределяется между индивидами, столкнувшимися с недостоверной информацией, и группами интересов, создающими и распространяющими ее. Например, вина за деструктивное поведение под влиянием фейковых новостей может приписываться в большей степени потребителям информации, которые не проявили критического мышления и/или повели себя излишне эмоционально, либо создателям дезинформирующего контента, которые «лишили» потребителей агентности и возможности рефлексивно взглянуть на ситуацию.

Можно предположить, что информанты, оценивая эффекты фейковых новостей, пользуются уже готовыми моделями рисков (*risk scripts*) [Slovic, 2010], к которым относятся сценарии паники («нас пугают»), раскола («нас хотят поссорить») и манипуляции. Вместо практического рассмотрения причинно-следственных связей люди обращаются к уже имеющимся нарративам. Так, избыточно эмоциональные новости маркируются ими как провоцирующие панику, нарушающие привычные нормы — как инструмент манипулирования, а разделяющие общество — как вызывающие конфликты разного уровня. Такие сценарии выполняют регулятивную функцию, предписывая, как реагировать на информацию. В частности, они могут подталкивать к ее игнорированию, перепроверке или переубеждению других людей. Однако одновременно с этим подобные сценарии также закрепляют восприятие мира как пространства постоянных скрытых угроз, и это ощущение непрерывно усиливается из-за влияния современных медиа [Slovic, 2010].

Представления россиян об угрозах фейковых новостей формируются на пересечении личного опыта, публичных дискуссий и более общих социально-культурных тенденций. Информанты оценивают риски дезинформации, опираясь на опыт проживания недавних событий, в числе которых пандемия COVID-19, начало специальной военной операции (СВО) и экономические колебания (например, изменения курса рубля). Именно в этом событийном контексте были сформированы устойчивые нарративы. Например, информанты

активно рассуждали о последствиях дезинформации по поводу вакцинации и методов лечения, что явилось наследием недавно прошедшей пандемии. Или указывали на риски совершения деструктивных экономических действий под влиянием фейковых новостей, исходя из того, что они наблюдали во время пандемии COVID-19 или в начале СВО. Относительная распространенность панического потребления в указанные периоды [Радаев, 2024, 2025; Billore, Anisimova, 2021] нашла отражение в материалах интервью. Еще одним примером контекстуальности в восприятии проблематики фейковых новостей является теракт в «Крокус Сити Холл», усиливший обеспокоенность международными отношениями и миграционной политикой. Таким образом, восприятие дезинформации тесно связано с актуальной медиаповесткой и социальными реалиями. Наличие (относительно) релевантного опыта дает информантам возможность рефлексивно относиться к состоянию информационной среды и делает их рассуждения эмоционально насыщенными.

Кроме того, в формировании представлений о возможных последствиях фейковых новостей большую роль играет публичная дискуссия по данному вопросу. С одной стороны, обсуждение проблемы в медиaprостранстве предоставляет аудитории язык для ее осмысления. Так, в интервью используется специфическая лексика, заимствованная из публичных дискуссий (*информационные войны, фейкометы* и т. д.). Такие понятия отражают представления о дезинформации как элементе целенаправленных манипуляций в условиях политической борьбы, задавая соответствующую рамку интерпретации. С другой стороны, вероятно, отчасти именно публичная дискуссия о фейковых новостях сформировала устойчивые представления о массовости и вездесущности недостоверного контента. Материалы интервью явно противоречат теории истины по умолчанию (*truth-default theory*) [Levine, 2014], согласно которой люди склонны оценивать поступающую к ним информацию как достоверную. Информанты утверждают, что *«процентов 60 новостей — они в принципе в той или иной степени фейковые»* (Информант 17, м., 20 лет), или: *«я не верю вообще... Ну, то есть, у меня лично нет такого, что из достоверного источника я вот что-то знаю. Этого абсолютно нет. Даже если бы я что-то увидел, то я бы не был уверен, что я вот увидел, и это так. Поэтому новости — это какое-то мифотворчество»* (Информант 8, м., 32 года). Это наблюдение также соотносится с результатами других исследований, демонстрирующих ограниченное доверие к новостям в России [Петрова, 2024] и относительно высокий уровень медиацинизма [Бирюкова, Васильева et al., 2024].

В целом, данный вопрос нуждается в более детальном рассмотрении в дальнейших исследованиях.

Наконец, мы видим, что представления о фейковых новостях вписаны в более широкие социальные и культурные тренды. Можно обозначить некоторые из них. Во-первых, наблюдается тенденция рефлексировать эмоциональные состояния и осмыслять их в специализированных терминах, свойственных терапевтической культуре. Именно эмоциональные переживания выделяются в качестве одного из негативных эффектов дезинформации. Ранее уже было продемонстрировано, что потребление новостей может интерпретироваться



в русле терапевтической культуры [Казун, 2024]. Во-вторых, представления информантов о фейковых новостях сопряжены с влиянием идеологической поляризации. В рассуждениях интервьюируемых наблюдается своеобразная подмена понятий, когда примеры связанных с фейковыми новостями межличностных конфликтов информанты скорее соотносят не с дезинформацией как таковой, а с фрагментацией общества. Пророссийские и прозападные нарративы, присутствующие в публичном поле, усиливают размежевание между группами «мы» (носители «корректной информации») и «они» (потребители фейков, создаваемых «врагами»).

Таким образом, восприятие фейковых новостей в России отражает сложное взаимодействие личного опыта, публичной дискуссии и социокультурного контекста. Эти результаты подчеркивают необходимость учитывать множество факторов при изучении воздействия дезинформации на общество. Выделенные информантами негативные эффекты распространения фейковых новостей отчасти соотносятся с теми проблемами, о которых говорится в академической литературе. Так, например, фейковые новости обсуждаются как оружие, что соответствует и результатам исследований (weaponization). Однако наблюдаются и некоторые различия. Например, информанты не уделяют большого внимания потенциальному влиянию фейков на электоральное поведение и демонстрируют слабую эмоциональную вовлеченность в эту проблематику, несмотря на то, что в период полевого этапа исследования в стране проходили президентские выборы.

Полученные результаты также иллюстрируют парадокс «мудрой толпы» (wisdom of crowds) [Surowiecki, 2004], поскольку коллективная осторожность по отношению к «чужому» может сочетаться с наивным доверием к «своим» информационным каналам. Эвристики, которые выглядят как проявление рациональности (дополнительная проверка и критическое отношение к новостям), оборачиваются уязвимостью, поскольку информация из идеологически близких источников не подвергается верификации, а идеологически чуждый контент может автоматически маркироваться как фейк. Соответственно, эпистемические рутины (epistemic routines) одновременно обеспечивают экономию когнитивных ресурсов и воспроизводят селективность восприятия (selective exposure), тем самым ограничивая «мудрость толпы» [Surowiecki, 2004].

Литература / References

Бирюкова С. С., Васильева Г. Г., Казун А. Д., Красильникова М. Д., Кузина О. Е., Моисеева Д. В., Назарбаева Е. А., Пишняк А. И., Халина Н. В. Барометр экономического поведения домохозяйств в России. № 3. М.: НИУ ВШЭ, 2024. URL: <https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/981539441.pdf> (дата обращения: 18.08.2025).

Biryukova S. S., Vasileva G. G., Kazun A. D., Krasilnikova M. D., Kuzina O. E., Moiseeva D. V., Nazarbaeva E. A., Pishnyak A. I., Halina N. V. (2024) *Barometr ekonomicheskogo povedeniya domo-hozyajstv v Rossii* [The Barometer of Economic Behavior of Households in Russia]. No. 3. Moscow: NIU VShE. URL: <https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/981539441.pdf> (accessed: 18.08.2025).

Казун А.Д., Малыгина Н.С. Эмоциональный опыт думскроллинга: Как справиться с негативными новостями? // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2024. Т. 16. № 4. С. 78–95. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2024.16.4.5> EDN: MYGPYR

Kazun A. D., Malygina N. S. (2024) Coping with Negative News: Emotional Experience of Doomscrolling. *Interakciya. Intervyu. Interpretaciya* [Interaction. Interview. Interpretation]. Vol. 16. No. 4. P. 78–95. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2024.16.4.5>

Казун А.Д. Так ли страшен фейк? Ложные новости и их роль в современном мире // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 162–175. DOI: <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.791> EDN: HHBOQV

Kazun A. D. (2020) Are Fakes Really Dangerous? Fake News and Their Role in the Modern World. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: Ekonomicheskie i socialnye peremeny* [Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes]. No. 4. P. 162–175. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.791>

Петрова Д.В. Потребление новостей в сельской местности: (не)доверие и стратегии верификации информации // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2024. № 4. С. 91–114. DOI: <https://doi.org/10.14515/monitoring.2024.4.2572>

Petrova D. V. (2024) News Consumption in Rural Area: (Dis)Trust and Verification Strategies. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: Ekonomicheskie i socialnye peremeny* [Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes]. No. 4. P. 91–114. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.14515/monitoring.2024.4.2572>

Радаев В.В. Нестандартное потребление. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2025. DOI: <https://doi.org/10.17323/978-5-7598-4131-9> EDN: PFROVD

Radaev V. V. (2025) *Nestandartnoe potreblenie* [Nonstandard Consumption]. Moscow: Izdatelskij dom NIU VShE. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.17323/978-5-7598-4131-9>

Радаев В.В. Нестандартные формы потребления: сравнительный анализ // Вопросы экономики. 2024. № 3. С. 43–72. DOI: <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2024-3-43-72> EDN: ZEHGOV

Radaev V. V. (2024) Nonstandard Consumption Forms: A Comparative Analysis. *Voprosy Ekonomiki* [Economic Issues]. No. 3. P. 43–72. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2024-3-43-72>

Ушкин С.Г. Не только социальные сети: каналы распространения фейковых новостей в представлениях населения // Galactica Media: Journal of Media Studies. 2024. Т. 6. № 2. С. 162–176. DOI: <https://doi.org/10.46539/gmd.v6i2.460> EDN: YUXQRL

Ushkin S. G. (2024) Not Only Social Networks: Channels of Dissemination of Fake News in the Views of the Population. *Galactica Media: Journal of Media Studies*. Vol. 6. No. 2. P. 162–176. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.46539/gmd.v6i2.460>

Ahmed S., Rasul M. E., Cho J. (2022) Social Media News Use Induces COVID-19 Vaccine Hesitancy Through Skepticism Regarding Its Efficacy: A Longitudinal Study from the United States. *Frontiers in Psychology*. Vol. 13. P. 1–7. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.900386>

Berger P. L., Luckmann T. (1966) *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Doubleday.

Berry R. A., Rosenbaum J. E., Corey A. M. (2023) Weaponising #Fakenews on Twitter: Generating Flak or Critiquing the Status Quo in the Trump Era? *Javnost — The Public*. Vol. 30. No. 4. P. 534–550. DOI: <https://doi.org/10.1080/13183222.2023.2267265>

Billore S., Anisimova T. (2021) Panic Buying Research: A Systematic Literature Review and Future Research Agenda. *International Journal of Consumer Studies*. Vol. 45. No. 4. P. 777–804. DOI: <https://doi.org/10.1111/ijcs.12669>

Broda E., Strömbäck J. (2024) Misinformation, Disinformation, and Fake News: Lessons from an Interdisciplinary, Systematic Literature Review. *Annals of the International Communication Association*. Vol. 48. No. 2. P. 139–166. DOI: <https://doi.org/10.1080/23808985.2024.2323736>

Carlson M. (2020) Fake News as an Informational Moral Panic: The Symbolic Deviancy of Social Media during the 2016 US Presidential Election. *Information, Communication & Society*. Vol. 23. No. 3. P. 374–388. DOI: <https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1505934>



Dalen A.V. (2019) Rethinking Journalist–Politician Relations in the Age of Populism: How Outsider Politicians Delegitimize Mainstream Journalists. *Journalism*. Vol. 22. No. 11. P. 2711–2728. DOI: <https://doi.org/10.1177/1464884919887822>

Dehghan E., Glazunova S. (2021) “Fake News” Discourses: An Exploration of Russian and Persian Tweets. *Journal of Language and Politics*. Vol. 20. No. 5. P. 741–760. DOI: <https://doi.org/10.1075/jlp.21032.deh>

Ditto P.H., Liu B.S., Clark C.J., Wojcik S.P., Chen E.E., Grady R.H., Celnikier J.B., Zinger J.F. (2018) At Least Bias Is Bipartisan: A Meta-Analytic Comparison of Partisan Bias in Liberals and Conservatives. *Perspectives on Psychological Science*. Vol. 14. No. 2. P. 273–291. DOI: <https://doi.org/10.1177/1745691617746796>

Dobber T., Metoui N., Trilling D., Helberger N., de Vreese C. (2020) Do (Microtargeted) Deepfakes Have Real Effects on Political Attitudes? *The International Journal of Press/Politics*. Vol. 26. No. 1. P. 69–91. DOI: <https://doi.org/10.1177/1940161220944364>

Egelhofer J.L., Boyer M., Lecheler S., Aaldering L. (2022) Populist Attitudes and Politicians’ Disinformation Accusations: Effects on Perceptions of Media and Politicians. *Journal of Communication*. Vol. 72. No. 6. P. 619–632. DOI: <https://doi.org/10.1093/joc/jqac031>

Egelhofer J.L., Lecheler S. (2019) Fake News as a Two-Dimensional Phenomenon: A Framework and Research Agenda. *Annals of the International Communication Association*. Vol. 43. No. 2. P. 97–116. DOI: <https://doi.org/10.1080/23808985.2019.1602782>

Farkas J., Schou J. (2018) Fake News as a Floating Signifier: Hegemony, Antagonism and the Politics of Falsehood. *Javnost — The Public*. Vol. 25. No. 3. P. 298–314. DOI: <https://doi.org/10.1080/13183222.2018.1463047>

Freiling I., Stubenvoll M., Matthes J. (2023) Support for Misinformation Regulation on Social Media: Is It the Perceived Harm of Misinformation that Matters, Not He Perceived Amount. *Policy & Internet*. Vol. 15. No. 4. P. 731–749. DOI: <https://doi.org/10.1002/poi3.360>

Greene C.M., Murphy G. (2021) Quantifying the Effects of Fake News on Behavior: Evidence from a Study of COVID-19 Misinformation. *Journal of Experimental Psychology*. Vol. 27. No. 4. P. 773–784. DOI: <https://doi.org/10.1037/xap0000371>

Gros A.E. (2017) The Typicality and Habituality of Everyday Cognitive Experience in Alfred Schutz’s Phenomenology of the Lifeworld. *Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy*. Vol. 9. No. 1. P. 63–85.

Gunther A.C., Storey J.D. (2003) The Influence of Presumed Influence. *Journal of Communication*. Vol. 53. No. 2. P. 199–215. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2003.tb02586.x>

Hameleers M. (2020) My Reality Is More Truthful Than Yours: Radical Right-Wing Politicians’ and Citizens’ Construction of “Fake” and “Truthfulness” on Social Media — Evidence from the United States and The Netherlands. *International Journal of Communication*. Vol. 14. P. 1135–1152.

Hameleers M., Brosius A., de Vreese C.H. (2022) Whom to Trust? Media Exposure Patterns of Citizens with Perceptions of Misinformation and Disinformation Related to the News Media. *European Journal of Communication*. Vol. 37. No. 3. P. 237–268. DOI: <https://doi.org/10.1177/02673231211072667>

Hasell A., Halversen A. (2024) Feeling Misinformed? The Role of Perceived Difficulty in Evaluating Information Online in News Avoidance and News Fatigue. *Journalism Studies*. Vol. 25. No. 12. P. 1441–1459. DOI: <https://doi.org/10.1080/1461670X.2024.2345676>

Humprecht E., Esser F., Aelst P.V. (2020) Resilience to Online Disinformation: A Framework for Cross-National Comparative Research. *The International Journal of Press/Politics*. Vol. 25. No. 3. P. 493–516. DOI: <https://doi.org/10.1177/1940161219900126>

Jones-Jang S.M., Kim D.H., Kenski K. (2021) Perceptions of Mis- or Disinformation Exposure Predict Political Cynicism: Evidence from a Two-Wave Survey during the 2018 US Midterm Elections. *New Media & Society*. Vol. 23. No. 10. P. 3105–3125. DOI: <https://doi.org/10.1177/1461444820943878>

Lazer D.M.J., Baum M.A., Benkler Y., Berinsky A.J., Greenhill K.M., Menczer F., Metzger M.J., Nyhan B., Pennycook G., Rothschild D., Schudson M., Sloman S.A., Sunstein C.R., Thorson E.A.,

- Watts D.J., Zittrain J.L. (2018) The Science of Fake News. *Science*. Vol. 359. No. 6380. P. 1094–1096. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.aao2998>
- Lee S., Gil de Zúñiga H., Munger K. (2023) Antecedents and Consequences of Fake News Exposure: A Two-Panel Study on How News Use and Different Indicators of Fake News Exposure Affect Media Trust. *Human Communication Research*. Vol. 49. No. 4. P. 408–420. DOI: <https://doi.org/10.1093/hcr/hqad019>
- Lee S., Jones-Jang S.M. (2024) Cynical Nonpartisans: The Role of Misinformation in Political Cynicism during the 2020 U.S. Presidential Election. *New Media & Society*. Vol. 26. No. 7. P. 4255–4276. DOI: <https://doi.org/10.1177/14614448221116036>
- Lee T. (2021) How People Perceive Influence of Fake News and Why it Matters. *Communication Quarterly*. Vol. 69. No. 4. P. 431–453. DOI: <https://doi.org/10.1080/01463373.2021.1954677>
- Levine T.R. (2014) Truth-Default Theory (TDT). *Journal of Language and Social Psychology*. Vol. 33. No. 4. P. 378–392. DOI: <https://doi.org/10.1177/0261927X14535916>
- Manjoo F. (2008) *True Enough: Learning to Live in a Post-Fact Society*. Wiley: Wiley & Sons.
- Mazzaro K. (2023) Anti-Media Discourse and Violence against Journalists: Evidence from Chávez's Venezuela. *The International Journal of Press/Politics*. Vol. 28. No. 3. P. 469–492. DOI: <https://doi.org/10.1177/19401612211047198>
- Miró-Llinares F., Aguerri J.C. (2023) Misinformation about Fake News: A Systematic Critical Review of Empirical Studies on the Phenomenon and Its Status as a "Threat". *European Journal of Criminology*. Vol. 20. No. 1. P. 356–374. DOI: <https://doi.org/10.1177/1477370821994059>
- Park C.S. (2024) Why People Rely on Fact-Checkers? Testing Theses of "Perceived Severity of Fake News" and "Disappointment in News Media". *Journalism Studies*. Vol. 25. No. 1. P. 1–18. DOI: <https://doi.org/10.1080/1461670X.2023.2289878>
- Rojas H. (2010) "Corrective" Actions in the Public Sphere: How Perceptions of Media and Media Effects Shape Political Behaviors. *International Journal of Public Opinion Research*. Vol. 22. No. 3. P. 343–363. DOI: <https://doi.org/10.1093/ijpor/edq018>
- Ross A., Vaccari C., Chadwick A. (2022) Russian Meddling in U.S. Elections: How News of Disinformation's Impact Can Affect Trust in Electoral Outcomes and Satisfaction with Democracy. *Mass Communication and Society*. Vol. 25. No. 6. P. 786–811. DOI: <https://doi.org/10.1080/15205436.2022.2119871>
- Schiff K.J., Schiff D.S., Bueno N.S. (2024) The Liar's Dividend: Can Politicians Claim Misinformation to Evade Accountability? *American Political Science Review*. Vol. 119. No. 1. P. 71–90. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0003055423001454>
- Schütz A. (1953) Common-Sense and Scientific Interpretation of Human Action. *Philosophy and Phenomenological Research*. Vol. 14. No. 1. P. 1–38. DOI: <https://doi.org/10.2307/2104013>
- Slovic P. (2010) *The Feeling of Risk: New Perspectives on Risk Perception*. London; New York: Earthscan.
- Stroud N.J., Lee J.K. (2013) Perceptions of Cable News Credibility. *Mass Communication and Society*. Vol. 16. No. 1. P. 67–88. DOI: <https://doi.org/10.1080/15205436.2011.646449>
- Sude D.J., Sharon G., Dvir-Gvirsman S. (2023) True, Justified, Belief? Partisanship Weakens the Positive Effect of News Media Literacy on Fake News Detection. *Frontiers in Psychology*. Vol. 14. P. 1–16. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1242865>
- Surowiecki J. (2004) *The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter than the Few*. New York: Anchor Books.
- Taylor P.M. (2013) *Munitions of the Mind a History of Propaganda from the Ancient World to the Present Era*. Manchester; New York: Manchester University Press.
- Tong C., Gill H., Li J., Valenzuela S., Rojas H. (2020) "Fake News Is Anything They Say!" — Conceptualization and Weaponization of Fake News among the American Public. *Mass Communication and Society*. Vol. 23. No. 5. P. 755–778. DOI: <https://doi.org/10.1080/15205436.2020.1789661>



Van Aelst P., Strömbäck J., Aalberg T., Esser F., de Vreese C., Matthes J., Hopmann D., Salgado S., Hubé N., Stępińska A., Papathanassopoulos S., Berganza R., Legnante G., Reinemann C., Sheafer T., Stanyer J. (2017) Political Communication in a High-Choice Media Environment: A Challenge for Democracy? *Annals of the International Communication Association*. Vol. 41. No. 1. P. 3–27. DOI: <https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1288551>

van der Linden S., Panagopoulos C., Roozenbeek J. (2020) You Are Fake News: Political Bias in Perceptions of Fake News. *Media, Culture & Society*. Vol. 42. No. 3. P. 460–470. DOI: <https://doi.org/10.1177/0163443720906992>

van der Meer Toni G.L.A., Hameleers M., Ohme J. (2023) Can Fighting Misinformation Have a Negative Spillover Effect? How Warnings for the Threat of Misinformation Can Decrease General News Credibility. *Journalism Studies*. Vol. 24. No. 6. P. 803–823. DOI: <https://doi.org/10.1080/1461670X.2023.2187652>

Сведения об авторе:

Казун Анастасия Дмитриевна — кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, лаборатория экономико-социологических исследований, доцент факультета социальных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия. **Email:** adkazun@hse.ru. **РИНЦ Author ID:** 822971; **ORCID ID:** 0000-0002-9633-2776; **ResearcherID:** K-6835-2015.

Статья поступила в редакцию: 17.03.2025

Принята к публикации: 25.08.2025

БАК 5.4.4.



“To Tarnish the Pure and Illuminate the Tainted”: Russian Perceptions of the Potential Risks of Fake News⁸

DOI: [10.19181/inter.2025.17.3.2](https://doi.org/10.19181/inter.2025.17.3.2)

Anastasia D. Kazun HSE University, Moscow, Russia
E-mail: adkazun@hse.ru

The article presents findings from a qualitative study of Russians' perceptions of the potential consequences of fake news. Examining lay representations of such risk is crucial because these beliefs carry real-world implications and can shape behavior. Drawing on 119 semi-structured interviews conducted in 2024, informants problematize the prevalence of fake news and describe a broad spectrum of possible harms, which can be provisionally grouped into three classes of threats to public life: threats to social solidarity; risks related to individual well-being; and impacts on the functioning of social institutions. In the first case, participants highlight the dangers of political destabilization and the emergence of intergroup and interpersonal conflict. Risks

⁸ The study is supported by the Russian Science Foundation, grant № 23–78–01206. *Russian Science Foundation*. URL: <https://rscf.ru/project/23-78-01206/>

to individual well-being are understood as the effects of fake news on people's mental and/or physical health. Negative impacts on institutional functioning — particularly within the media sphere and electoral institutions — are discussed less intensively and with less emotional involvement. I suggest that informants assess the consequences of fake news by invoking readily available risk scripts, including scenarios of “panic” (“they are scaring us”), “division” (“they want to set us against each other”), and “manipulation”. Perceptions of disinformation risks are formed at the intersection of personal experiences of salient recent events (the COVID-19 pandemic, the onset of the Special Military Operation, and economic volatility), public debates that provide the language for problem framing and reinforce beliefs about the high prevalence of fakes, and broader socio-cultural trends such as the diffusion of therapeutic culture, polarization, and societal fragmentation. Overall, representations of the consequences of fake news are context-dependent and are often articulated through examples drawn from the current news agenda.

Keywords: fake news; disinformation; news consumption; media trust; relativism of facts; media effects

Author Bio:

Anastasia D. Kazun — Candidate of Sociology, Senior Researcher, Laboratory for Studies in Economic Sociology, Associate Professor, Faculty of Social Sciences, HSE University, Moscow, Russia. **Email:** adkazun@hse.ru. **RSCI Author ID:** [822971](#); **ORCID ID:** [0000-0002-9633-2776](#); **ResearcherID:** [K-6835-2015](#).

Received: 17.03.2025
Accepted: 25.08.2025



DOI: 10.19181/inter.2025.17.3.3
EDN: FQHOZZ

Литературная репутация в современном литературном поле: взгляд критиков¹

Ссылка для цитирования:

Рязанцев А. П. Литературная репутация в современном литературном поле: взгляд критиков // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2025. Т. 17. № 3. С. 55–78. <https://doi.org/10.19181/inter.2025.17.3.3> EDN: FQHOZZ

For citation:

Ryazancev A. P. (2025) Literary Reputation in the Modern Literary Field: The Critic's View. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 17. No. 3. P. 55–78. <https://doi.org/10.19181/inter.2025.17.3.3>



Рязанцев Александр Павлович

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
Москва, Россия
E-mail: ariazantsev@hse.ru

Статья сфокусирована на дефиниции понятия литературная репутация и ее эмпирическом исследовании. Базируясь на концепции культурного посредничества, литературное производство рассматривается шире пары «автор — читатель» и включает других посредников — критиков, издателей, редакторов и т.д., которые создают интерпретации литературного продукта, поддерживают канон и тем самым участвуют в конструировании литературных репутаций. Репутация понимается как согласованная и устойчивая оценка индивида, сформированная посредством обсуждения в социальной группе, то есть дискурсивно. Литературная репутация имеет реляционное происхождение, она складывается не только на основе текстов автора, но и в результате высказываний других акторов литературного поля; это социальный конструкт, в котором сочетаются художественная ценность продукта, институциональное признание и культурные ожидания. Эмпирическое реконструирование оценки литературных

¹ Материал данной статьи основан на результатах исследований, проведенных в ходе написания кандидатской диссертации на тему: «Литературная репутация в цифровую эпоху: поля, акторы, механизмы воспроизводства».

текстов проведенное на основе 35 полуструктурированных интервью с литературными критиками, показывает, что, поскольку такая репутация формируется не только через тексты, но и через взаимодействие с критиками, издателями и другими посредниками, а также зависит от публичного восприятия, современный писатель вынужден выходить за рамки чисто творческой деятельности. Он должен не только создавать произведения, но и активно формировать свой медийный образ, участвуя в публичных коммуникациях, управляя репутационным капиталом, который зависит от узнаваемости, имиджа, личных взглядов и подвержен влиянию общественного мнения и медийных скандалов.

Ключевые слова: литераторы; культурное посредничество; репутация; интервью; литературные критики

Введение

Социология литературы как дисциплинарная область сформировалась в конце XX века, когда социальные исследователи начали открыто политизировать литературу (а еще ранее в СССР — ее идеологизировать и морализировать) и изучать ее культурную продуктивность. Как пишет Эшли Барнуэлл, существующие описания этой междисциплинарной области [English, 2010; Laurenson, Swingewood, 1971; Parkhurst Ferguson et al., 1988] противоречиво оценивают ее современное состояние — как одновременно процветающее и фрагментированное [Barnwell, 2015]. Будучи предшественницей междисциплинарной области культурологии, социология литературы вдохновила литературных критиков и социологов прежде всего на критику культурных канонов современности. Так, работа Пьера Бурдьё «Различение» [Bourdieu, 1984] тематизировала критику социально обусловленного вкуса и канонов высокого искусства, стимулировав социологический интерес к политике культуры. Лингвистический поворот в критической теории и работах в области антропологии, демонстрируемый в «Культуре письма» Джеймса Клиффорда и Джорджа Э. Маркуса [Clifford, Marcus, 1986], а также в «Интерпретации культуры» Клиффорда Гирца [Geertz, 1977], стал рассматривать культуру как текст и ввел терминологию риторики и дискурса в лексикон социальных наук. Встречное методологическое обогащение представлено примером географического и количественного анализа литературы у Франко Моретти [Moretti, 2005], который привнес методы социальных наук в изучение романов, а «Правила искусства» Бурдьё [Bourdieu, 1996] использовали произведения Флобера как документ социальной истории. В ряду отечественных ученых, внесших важный вклад в социологию литературы, М. Бахтин, Ю. Лотман, Ю. Тынянов, А. Рейтблат, С. Зенкин, Б. Дубин, Н. Самутина и др. Не обойден вниманием и читательский опыт: работа «Чтение за пределами книги: социальные практики современной литературной культуры» Даниэллы Фуллер



и Денела Седо [Fuller, Sedo, 2013] вводит в социологию литературы изучение читательских практик в сети.

Для социологии литературы важен также интерес к самим авторам и другим участникам литературного процесса. Помимо авторов, производящих литературный продукт, в осуществлении этого процесса участвуют критики, издатели, редакторы, рецензенты, инфлюенсеры, книготорговцы, организаторы книжных премий, конкурсов, модераторы профильных онлайн-платформ и т.д. В центре классического социологического сюжета — становление писателей как профессионалов, строительство писательской карьеры в институциональном и внеинституциональном плане, специфика их образования и опыта, профессиональное продвижение и репутационный менеджмент. Собственно, репутация писателя и привлекла наше исследовательское внимание. В статье мы попытаемся построить концептуальную основу для изучения литературных репутаций, а также эмпирически ее реконструировать на основе экспертного мнения таких акторов литературного процесса как критики.

Концептуальная платформа культурного посредничества

Литература как культурный процесс непрерывно (вос)производится посредством интерпретации и диалога заинтересованных акторов, и именно это непрерывное воспроизводство, основанное на индивидуальной герменевтике и коллективном дискурсе, является социальным и культурным посредничеством. Креативный импульс от автора передается далее к агентам, издателям, дистрибьюторам, критикам и, наконец, к читателям: литературный текст встроен в данный культурно-специфический контекст и обмен. Все акторы опираются на эту культурную агентную инфраструктуру в совместном создании и воспроизводстве значения литературного текста для определения его последующей судьбы в читательской аудитории и публичном дискурсе. Это значение вплетается в публичное коммуникативное пространство, выходя за рамки лично-индивидуального — автора, редактора или читателя, и таким образом формируется язык культуры.

Важная идея, почерпнутая у Марселя Кнохельмана, заключается в том, что литературный текст является медиумом, и все субъекты, связанные с ним, опосредуют культуру через него [Knöchelmann, 2024]. Данный принцип обосновывает герменевтически сильную концепцию культурного посредничества, которая строит мост между пониманием литературы как социального производства и морально-этическим измерением, которое можно усмотреть в литературных текстах и образе автора. Оставим здесь закладку, нацеливаясь в перспективе на исследование репутационного капитала автора, рассматриваемого в терминах Бурдьё в представлениях критиков как влиятельных акторов литературного процесса.

Обычно в контексте производства культурных продуктов рассматриваются «посредники между творческими деятелями и потребителями» [Negus, 2002: 503], основные из которых — редакторы.

В современной издательской индустрии [Steiner, 2018; Thompson, 2010] редакторы окружены разведчиками, агентами и компаньонами, на которых они полагаются при определении того, что заслуживает внимания. Соответственно, функции агентов «включают в себя предварительный отбор текстов для публикации, работу над презентациями авторов для издателей, а затем редактирование текста» [De Bellaigue, 2008: 112]. Важность литературного агента как социального посредника хорошо освещена в релевантной литературе [Amlinger, 2021; Childress, 2017; Thompson, 2010], прежде всего его участие в коммуникации и социальном посредничестве, при котором между автором и потенциальной аудиторией — сеть субъектов.

Помимо литературного агента, на сцену выходит и фигура самого редактора. Изучая специфику восприятия литературного текста, Грисволд показывает, как смысловой/вкусовой горизонт редактора реагирует на текст и как эта реакция вплетается в дальнейший дискурс, одновременно подчеркивая существующие культурные коды / каноны письма и добавляя новый потенциал для символической репрезентации [Griswold, 1987]. Участие в производстве значения литературного текста зависит от дискурсивных переговоров в сообществе относительно обоснований того, что такое хороший текст. Используя символический интеракционистский подход, Фюрст делит посредничество на две фазы: обнаружение и обоснование. Анализ Фюрста обращает внимание на необходимую открытость на этапе обнаружения, называя ее ориентацией на «средства прежде целей» [Fürst, 2018: 521]. Редактор становится чувствительным к определенным характеристикам литературного текста, следуя вкусу или жанру. В другом исследовании опрошенные редакторы утверждают, что работают с *правильными* книгами, но при этом не могут указать, что это означает, помимо широких эстетических критериев, апеллируя прежде всего к своим чувствам и интуиции [Franssen, Kuipers, 2013: 60–61]. Этому выводу вторит и одно из наиболее полных недавних исследований в области социологии литературы [Amlinger, 2021] на тему социальных условий и структур, в которых создается литературный текст.

Не стоит игнорировать и роль читательского восприятия в формировании литературной репутации, хотя, как это следует из эмпирического анализа мнения критиков, данный аспект остается на периферии. Если редакторы и критики опираются на профессиональные критерии и интуицию, то массовая аудитория оценивает текст через призму личного опыта, эмоционального отклика и актуальных общественных дискуссий. Такое расхождение может указывать на устоявшуюся иерархию в литературном поле, где экспертные суждения традиционно доминируют над непрофессиональными читательскими оценками.

Однако в цифровую эпоху, когда репутация автора все чаще формируется в социальных сетях и на книжных платформах, игнорирование читательского голоса становится невозможным. Читательские обзоры, рейтинги и обсуждения в цифровых пространствах создают параллельный экспертной оценке механизм репутационного производства, который зачастую оказывается даже более динамичным и влиятельным.



Посредничество критиков

Специфика деятельности литературного критика — в наделении рядового читателя компетентным суждением, то есть индивидуальное уникальное мнение становится ресурсом символической репрезентации в публичной сфере. Дискурс повествования, его символические формы и коды должны приобрести статус общепринятых. Критики выполняют различные роли — от телеведущего, обсуждающего тексты начинающего романиста на повседневном языке, до колумниста или академического критика. Они подходят к литературному тексту с разных позиций и предлагают интерпретативные перспективы. Академический дискурс о литературе, будь то поиск забытых классических произведений или рассмотрение ценности новейших достижений, также важен, поскольку создает коммуникативные подмости, коммуникативную арену, тесно связанную с культурными смыслами в своем движении от традиции к постоянно надвигающейся современности [Gabriel, 2020; Marquard, 2020]. В этом отношении литературная критика ценна тем, что предоставляет язык для прояснения текста в публичном дискурсе, поддерживая коммуникативное пространство вокруг литературного текста как таковое. Процедурный характер диалога о литературном тексте, о преобразовании символической формы в общедоступную intersубъективную рефлексию имеет важное значение для общества. Другими словами, критики поддерживают диалог на различных уровнях социально-структурного взаимодействия, что обуславливает их социальный капитал.

Вернувшись к оставленной нами закладке, мы усматриваем часть этого социального капитала критиков в том, что они вносят своей интерпретативной деятельностью существенный вклад в строительство литературных репутаций. Но что такое репутация?

Понятие репутации и управление ею

Понятие репутации и практики репутационного менеджмента варьируются в зависимости от дисциплинарной области знания. В целом репутация является центральным аспектом социальной идентичности и, как считается, транслирует другим людям представление о вероятности того, что человек будет соблюдать социальные нормы, ролевые ожидания и обязанности [Craik, 2008]. Положительная репутация возникает благодаря действиям, которые демонстрируют подчинение индивидуальных интересов актора нормам условного общественного договора. Стремление к положительной репутации является мощным мотивом социального поведения. Это доказывают различные эмпирические исследования управления впечатлением [De Bruin, van Lange, 1999; Goffman, 1959; Willer, 2009; Cottrell, Neuberg, Li, 2007].

В узком смысле предлагается следующая дефиниция: репутация — согласованная и устойчивая оценка индивида, сформированная посредством

обсуждения среди членов группы, составляющих его социальную сеть. [Rindova et al., 2005]. В этом определении подчеркнуто, что репутация — это прежде всего уважение как оценочный продукт, который получает человек в форме суждений со стороны других, оно возникает в процессе общения и разделяется членами группы [Anderson, Shirako, 2008; Tennie, Frith, Frith, 2010].

Отдельный методологический аспект изучения репутаций специалистами связан с различием дистрибутивной и дискурсивной форм репутации [Craik, 2008]. Распределительная (дистрибутивная) репутационная информация относится к суждениям среди членов группы, составляющих социальную сеть. Она доступна посредством опроса членов группы относительно данного индивида, например, путем проверки рекомендаций, оценок коллег и других форм отчетности коллег [Whitmeyer, 2000]. Дискурсивная репутационная информация возникает в процессе активного общения между членами группы и является фактором, определяющим распределение репутационной информации внутри группы [Craik, 2008]. Примеры дискурсивной репутации — неформальные обсуждения [Craik, 2008] и сплетни [Feinberg et al., 2012; Feinberg et al., 2014].

Сущностно важно то, что репутация индивида формируется в процессе общения и суждений членов группы [Craik, 2008]. Группы формируют репутацию индивидов, как предполагается, для поощрения просоциальных, совместных действий с целью повышения силы и сплоченности данной группы [Feinberg et al., 2014]. Репутация может влиять на включение индивида в группу или исключение из нее.

Как утверждают Джазайери с коллегами [Jazaieri et al., 2019], репутация — один из критериев, отражающий групповую оценку индивида, что проявляется в коллективных суждениях группы (распределительная репутационная информация) и распространяется посредством спонтанного дискурса (дискурсивная репутационная информация).

Из этого экскурса следует сделать вывод: репутационные рычаги находятся во внешних по отношению к актору руках, то есть в сознании внешних наблюдателей. Поэтому теоретически и эмпирически важно различать предпосылки репутации (то есть внутренние и внешние инвестиции в репутацию, действия и атрибуты, посредством которых репутация формируется) и сами социальные представления как мнения конкретной группы заинтересованных сторон, которые составляют репутацию актора. Поэтому, хотя ценность репутации может быть «определена через взаимодействие и взаимосвязи между множеством атрибутов, как внутренних, так и внешних» [Roberts, Dowling, 2002], сама репутация не может быть отождествлена с внешними и внутренними атрибутами. Идея о том, что понятие репутации включает в себя и потоки ресурсов, ведущих к ее накоплению, указывает на целесообразность использования составных, или композитных, моделей изучения репутации. Композитная модель различает репутацию как социокогнитивный конструкт и ее antecedенты (предшествующие события, помогающие уяснению настоящего).



Литературная репутация

В этом разделе мы перенесем общее представление о репутации на литературное поле. Здесь репутация выполняет функцию социального посредника между произведением и его восприятием, между автором и читательским сообществом, между культурной продукцией и институциональной системой ее признания. В этом смысле репутация активно участвует в распределении символического капитала, организуя литературные иерархии, институционализируя рейтинги признания.

А. И. Рейтблат отмечал нестрогость понятия «литературная репутация» и предложил собственную формулировку: «Представления о писателе и его творчестве, которые сложились в рамках литературной системы и свойственны значительной части ее участников — критиков, литераторов, издателей, книготорговцев, педагогов, читателей» [Рейтблат, 2001]. Важной ее составляющей, по Рейтблату, является производное и реляционное происхождение: она формируется не только на основе текстов самого автора, но и в результате высказываний других акторов литературного поля. К примеру, проявляется в институциональных действиях — включении произведений в канон, переизданиях, премиях, образовательных инициативах.

Таким образом, репутация выступает в качестве социальной оценки в определенных кругах на основе ряда критериев и тем самым вписывается в композитный тип модели. По сути, репутация — это концентрированное выражение доверия, которое другие готовы инвестировать в человека, организацию или бренд. Тогда репутационный капитал литератора — это ресурс, который можно конвертировать в конкретные преимущества: лояльность аудитории, устойчивость к кризисам, премиальную стоимость продукта или услуги. Такой капитал определяется не только текущими достижениями, но и антецедентами — историей, последовательностью и предсказуемостью социального поведения. Истоки репутации коренятся в двух плоскостях: объективной (реальные действия) и субъективной (восприятие этих действий окружением). При этом ключевую роль играет не столько сама реальность, сколько ее интерпретация через призму общественного мнения. Даже нейтральные поступки в публичном поле могут быть истолкованы как позитивные или негативные в зависимости от контекста и нарратива, который их окружает.

Литературная репутация не равна имиджу литератора в публичной сфере. Имидж — это управляемая проекция в будущее, сознательно конструируемая часть репутации. Если репутация формируется стихийно, то имидж — это попытка направить этот процесс в нужное русло. Если имидж — это месседж, то репутация — его сложная, нелинейная и часто непредсказуемая трансформация, особенно в цифровой среде.

Ключевое различие этих понятий заключается в том, что имидж можно запланировать, а репутацию — только заработать. В эпоху алгоритмов это особенно очевидно: даже самый продуманный имидж писателя-интеллектуала может дать сбой, превратившись в мем или объект хейта. Репутация — это всегда диалог (иногда — схватка) между автором, платформами и аудиторией,

где царят не только тексты, но и цифровые следы, случайные тренды и контекстные сдвиги. Еще одно родственное понятие — целевой образ как идеальная версия репутации, к которой стремится литературный актер. Его формирование требует не только коммуникативных усилий, но и реальных изменений в поведении. В конечном счете репутация — это то, что остается после всех попыток управления имиджем. Она живет по собственным законам, сопротивляется полному контролю, но при этом определяет, насколько субъект сможет реализовать свои цели в долгосрочной перспективе. Ее нельзя купить, можно только заработать. Или потерять — в один момент.

Как продукт коллективного мнения, репутация формируется в результате взаимодействия различных социальных акторов: критиков, издателей, академических институтов, профессиональных сообществ и широкой аудитории. Она включает как кодифицированные элементы (награды, включенность в канон, признание со стороны авторитетных институций), так и менее формализованные практики — слухи, отзывы, мемы, читательские рецензии и даже молчание. Репутация всегда была и остается результатом сложного, многослойного процесса признания, где культурная ценность формируется в коммуникации. Следовательно, репутация — это форма согласия внутри культурной системы, своего рода результат социального консенсуса, который может быть как устойчивым, так и хрупким, согласно Г. Беккеру [Becker, 1982].

Социологами предложено важное различие двух типов репутации в художественном поле. Первый тип — признание (*recognition*) — относится к институциональному и профессиональному уровню: участие в выставках, получение премий, включение в коллекции, отклики в академической критике. Второй — известность (*reponwn*) — обозначает выход за пределы узкопрофессионального круга, с упоминаниями в СМИ, популярностью у публики, коммерческим успехом, интересом со стороны музеев и коллекционеров [Lang, Lang, 1988]. Такое разграничение позволяет точнее схватывать механизм распространения репутации, которая понятийно ближе признанию, и видеть в нем множественные траектории и логики. Признание и слава могут пересекаться, но не обязаны совпадать: фигура, обладающая прочным профессиональным статусом, может оставаться малоизвестной широкой публике, и наоборот. Репутация, таким образом, предстает как структура, расслаивающаяся по типам капиталов и аудиториям, среди которых она циркулирует. Этот подход особенно продуктивен в условиях современной медиасреды, где границы между профессиональным и массовым все менее устойчивы.

Итак, репутация в литературе — это результат социально обусловленного взаимодействия между институтами, актерами и культурными механизмами, производящими и воспроизводящими символический капитал. Она представляет собой социальную конструкцию, в которой сочетаются художественная ценность литературного продукта, институциональное признание и культурные ожидания. Как подчеркивает Джеймс Инглиш [English, 2005], литературные премии, критика, академические курсы и биографические



нарративы — все это «репутационные машины» (reputation machines), обеспечивающие циркуляцию и закрепление культурной значимости произведений и авторов. Репутация, по сути, становится механизмом отбора и иерархизации в культурном поле, влияя на доступ к ресурсам, признание и долговечность творческой жизни автора.

Литературная репутация в цифровую эпоху

Переход литературного процесса в цифровую среду коренным образом трансформировал репутационные механизмы, дезинтегрируя традиционную иерархию литературных институтов и открывая доступ к формированию символического капитала новым акторам и каналам. В условиях цифровизации исчезает четкое разграничение между центрами и периферией литературного поля: доступность инструментов самопубликации, разнообразие каналов дистрибуции и низкий порог входа позволяют новым авторам миновать традиционные механизмы отбора и напрямую обращаться к читательской аудитории [Baske, 2015]. Саймон Мюррей [Murray, 2018] фиксирует этот сдвиг, описывая радикальные изменения в производстве, распространении и легитимации литературных текстов в условиях платформенной экономики. Цифровая литературная сфера разрушает старую модель репутации как институционально признаваемой заслуги и заменяет ее моделью репутации как эффекта сетевого признания и медийной управляемости. Репутация становится краткосрочной, контекстно зависимой и уязвимой к репутационным сбоям (скандалам, негативной реакции, культурой отмены).

В цифровой экосистеме значимость автора определяется прежде всего его видимостью в медийном пространстве. Сетевой эффект заменяет собой традиционные механизмы легитимации: теперь важна не столько оценка критиков или включение в литературный канон, сколько способность генерировать вовлеченность аудитории. Лайки, репосты, комментарии и показатели просмотров становятся новыми маркерами литературного успеха. Особую роль в этом процессе играет алгоритмическое посредничество. Репутационные траектории современных авторов все чаще формируются не профессиональными критиками, а рекомендательными системами цифровых платформ. Эти алгоритмы продвигают контент, ориентируясь прежде всего на показатели популярности и вовлеченности, что зачастую ставит под вопрос традиционные критерии художественной ценности. Современные писатели вынуждены осваивать стратегии активной саморепрезентации в социальных сетях, превращая свою репутацию из внешней оценки в сознательно конструируемый ресурс. Литературный успех теперь требует не только писательского мастерства, но и медийной активности, умения работать с цифровой аудиторией. Этот сдвиг создает своеобразный парадокс современной литературной репутации. Если раньше она представляла собой форму символического капитала, основанного на признании профессионального сообщества и долговременных культурных заслуг, то сегодня она все

чаще функционирует как репутационный капитал и цифровой капитал, зависящий от алгоритмической видимости и способности удерживать внимание аудитории. Традиционные критерии оценки — глубина текста, новаторство, вклад в литературную традицию — размываются, уступая место показателям мгновенной пользовательской реакции и вирального охвата.

Введенное Мюрреем понятие цифровой литературной сферы обозначает сеть онлайн-платформ, на которых осуществляется не просто распространение текста, но и борьба за внимание, идентичность, аффективную вовлеченность и репутационную устойчивость. В этой среде исчезает монополия институционального посредничества — издательства. Критика как часть социального института литературы теряет прежний контроль над каналами репутационного закрепления. Их место занимают горизонтальные пользовательские структуры, алгоритмическая селекция и модели самоинсценировки автора.

Цифровая репутация становится продуктом не линейного накопления заслуг, а реактивного взаимодействия с аудиторией. Она функционирует по логике сетевого эффекта: авторская значимость формируется через видимость популярности, а не через институциональное признание. Это приводит к размыванию критериальной базы: репутация больше не опирается на устойчивую систему эстетических или профессиональных оценок, а конструируется через динамические показатели — лайки, репосты, упоминания, агрегированные рейтинги.

Мюррей подчеркивает, что все большую роль в распределении репутации играют алгоритмические посредники — рекомендательные системы и платформенные рейтинги. В отличие от профессиональных критиков, алгоритмы не делают качественной оценки текста, но заменяют их критериями видимости и доступности, тем самым влияя на траектории репутационного роста или обнуления. Это означает, что современная литературная репутация все чаще становится производной от алгоритмической логики: она вычисляется, а не только заслуживается и кем-то оценивается.

Особую остроту эти процессы приобретают в российском культурном контексте, где наблюдаются любопытные институциональные сдвиги. Государственная культурная политика в отношении литературы демонстрирует растущую дистанцию от традиционных форм кураторства. В отличие от театра, изобразительного искусства или музыки, литература оказывается в поле, где институциональная опека со стороны Министерства культуры существенно снижена. Ее регулирование и поддержка перешли в ведение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры), что символически подчеркивает радикальное изменение как представлений о литературе, так и смену механизмов ее репрезентации и легитимации². Такой переход — не просто административная формальность, а симптом глубинных трансформаций: литература все чаще рассматривается как часть

² Департамент государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии // Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. URL: <https://digital.gov.ru/departments/departament-gosudarstvennoj-podderzhenki-periodicheskoy-pechati-i-knizhnoj-industrii> (дата обращения: 07.06.2025).



цифровых и креативных индустрий, а не как автономная область художественного производства с особыми критериями оценки.

Такое положение приводит к смещению акцентов в институциональной поддержке: если раньше писатели могли рассчитывать на государственные стипендии, участие в программах Союза писателей или поддержку научных институтов, то сегодня они чаще вовлекаются в конкурсы цифрового контента, акселерационные программы, платформенные инициативы и квазирыночные формы взаимодействия. Например, продвижение литературных проектов может осуществляться не через книжные выставки или рецензии в толстых журналах, а через рейтинги на сервисе «Литрес», рекомендации «Яндекс.Дзен», алгоритмы «ВКонтакте» или просмотры блогеров на YouTube-каналах. Это создает новую систему координат, в которой автор вынужден осваивать компетенции самопрезентации, маркетинга и цифровой навигации, чтобы быть замеченным.

Итак, литературная репутация, становясь объектом внимания со стороны сразу нескольких типов акторов, — от литературных критиков до представителей иных полей, — теряет прежнюю стабильность, но сталкиваются с новой сложностью [Murray, 2015]. Репутация формируется через взаимодействие авторских стратегий, критических интерпретаций, публичных дискурсов и читательского восприятия.

Дизайн исследования: экспертные интервью с литературными критиками

Заложив композитный характер модели репутации на концептуальном уровне, мы операционализировали понятие литературной репутации как социокогнитивного конструкта и осуществили эмпирическое исследование российского литературного поля по таким тематическим блокам, как литературное поле России, литературный труд и акторы, социальные институты литературы, репутация писателя, социальный статус писателя. Для достижения поставленных целей мы представляем результаты исследования в виде экспертного мнения литературных критиков по данной тематике. Методом полуструктурированного интервью было проведено 35 интервью с ведущими литературными критиками, представляющими различные сегменты литературного поля. Выбор конкретных критиков в качестве респондентов не является случайным, напротив, он обусловлен спецификой их институциональной и экспертной роли, позволяющей им занимать рефлексивную, медиативную и экспертную позицию в литературном процессе. Критики находятся на пересечении множества культурных, профессиональных и институциональных потоков: они не только анализируют и оценивают литературное производство, но и активно участвуют в его формировании, влияя на символические иерархии, канонизацию авторов, институциональное признание и распределение внимания в медийном пространстве. Таким образом, высказывания литературных критиков — это не только их личные оценки, но и ценные маркеры структурных изменений, протекающих в современном литературном контексте.

Метод полуструктурированного интервью [Квале, 2003] был выбран в связи с необходимостью совместить гибкость развернутых, контекстуализированных ответов с возможностью сравнения отдельных сюжетов, в том числе по вопросу репутаций. Такая методологическая стратегия обеспечила баланс между качественной глубиной и аналитической сопоставимостью сравниваемых данных. Интервью строились вокруг заранее определенной структуры, включающей и открытые, и закрытые вопросы, разбитые на несколько тематических блоков. Каждый блок был сфокусирован на определенном аспекте современного литературного процесса в России, что позволило охватить как структурные, так и символические элементы его функционирования.

Анализ осуществлялся на нескольких уровнях: на первом этапе применена схема открытого кодирования [Emerson et al., 1995: 150; Flick, 2002: 259], которое было индуктивно, эмпирически «заземлено», но описательно. На втором этапе кодирование данных интервью стало более сфокусированным [Emerson et al., 1995: 160] и соответствовало появляющимся категориям. В ходе анализа обнаружилось широкое использование говорящих метафор, что предопределило кластерный анализ вокруг этих когнитивных смыслов, подтверждая эмерджентный характер качественного анализа. Отталкиваясь от этого уровня анализа и опираясь на аналитическую схему, мы перешли на уровень интерпретации, где систематизировали и концептуализировали смыслообразование вокруг проблематики репутаций в литературной среде.

Результаты анализа литературных репутаций

Контекст строительства литературных репутаций: как на фронте

Анализ интервью экспертов-критиков мы начинаем с обнаруженной поразительной лексической закономерности: речь респондентов насыщена специфической милитаристской и катастрофической лексикой, в которой выражается их отношение к текущему состоянию литературы и места в ней литератора. Повторяются слова: *утрата, переживание, перепроизводство, война за внимание, ловушка, темные времена, беда, проигрывать битву, распад, отсутствие ориентиров*. Этот набор словосочетаний не случаен: он задает общий аффективный регистр — тревожный, воинственный, апокалиптический. Вся система образов, которой респонденты описывают современное литературное поле, апеллирует к состоянию конфликта, потери, разрушения, осады. Литература, по их мнению, оказывается не просто вытесненной, она как будто терпит поражение в исторической схватке за свое существование.

Почему возник столь сильный язык и такая эмоциональная лексика, в целом воспроизводящая метафору поражения? Такой перенос смысла явно отражает необходимость выразить сложное динамическое переопределение современного состояния литературного поля и роли литератора в нем. Под метафорой, вслед за Д. Лакоффом и его теорией концептуальной метафоры, мы



понимаем проекцию сферы-источника на сферу-мишень [Лакофф, Джонсон, 2004], своего рода риторический фрейминг. Обратимся к Шанталь Муфф, которая писала, что «социальный агент конституируется набором „субъективных позиций“, которые никогда не могут быть зафиксированы в закрытой системе различий. Он конструируется разнообразием дискурсов, в рамках которых имеют место не некие необходимые отношения, но постоянное движение переопределения и замещения» [Mouffe, 1995: 33]. Эти манипуляции с базовым объектом соотнесения и выбором его метафоричного оформления обладают существенной симптоматикой, чем мы и воспользуемся в нашем анализе.

Интервью с литературными критиками демонстрируют состояние глубокой аффективной травмы, связанной с радикальной трансформацией роли литературы в общественном сознании. Сквозь ответы проходит один из самых устойчивых образов — обочина. Это не просто пространственная метафора, это позиция вне главной дороги, вне направления движения. Она маркирует вытеснение литературы из публичного поля, превращение ее в маргинальную форму культурного существования.

«Литература — она где-то на обочине. Мы мало кому нужны» (М., 37 лет, прозаик, критик).

В этом утверждении и горечь, и ощущение необратимой утраты. Ключевая фраза — «мало кому нужны» — связывает маргинализацию с эмоциональной и профессиональной ненужностью. Это риторика одиночества в поле, которое раньше претендовало на статус центра мышления. Образ обочины оказывается особенно значимым: он не только обозначает периферийность, он становится символом выпадения из общего маршрута культуры. Писатель больше не проводник, не ориентир, не навигатор, он стоит в стороне, наблюдая, как культурный поток обходит его стороной.

С этим чувством связана ностальгия по литературе, которая в свое время могла влиять на реальность, была источником тревоги для власти, объектом внимания цензоров и критиков.

«Литература была опасной. Теперь — безопасная, потому что бессильная. Никто не боится писателя» (М., 52 года, критик).

И это не просто ностальгия, это — утрата символического суверенитета. Сам писатель как актер в восприятии респондентов — больше не тот, кто вмешивается, а тот, кто исключен. Его больше не боятся и, следовательно, не воспринимают всерьез. Возникает ситуация, в которой социальная тишина вокруг писателя воспринимается не как свобода, а как равнодушие и вытеснение. И если в советское время опасность означала ценность (тексты запрещали, значит, они были значимыми), то теперь свобода означает отсутствие значимости.

Исчезновение фигуры писателя из медиального, образовательного и общественного поля воспринимается как дискурсивная смерть:

«Образ писателя исчез из публичного дискурса. Его нет ни в школе, практически не видно ни в телевидении, ни даже в серьезной журналистике» (Ж., 45 лет, критик).

Это свидетельствует об изменении институциональной роли литературы как механизма культурного кодифицирования. Она больше не устанавливает норму, не артикулирует общее, не формирует «мы». Литература как источник коллективного самопонимания вытеснена, ее место заняли более мобильные, более агрессивные формы медийной репрезентации: видео, стримы, мемы. В этом смысле литература становится неуместной.

Важно заметить, что респонденты, констатируя упадок, говорят об этом с эмоциональной болью, их высказывания пронизаны ресентиментом. Это не только «было лучше», это: «нас лишили», «нас не признали», «мы не успели адаптироваться». Они воспринимают перемены как насильственные, с позиции слабой субъектности, как изгнание с культурной сцены, а не как органическую трансформацию.

Особое внимание стоит уделить обширной, насыщенной деталями цитате, в которой дан целый социологический диагноз современного литературного поля:

«Мы сейчас живем в самые темные времена для литературы. Литература страдает от культурного перепроизводства — ее слишком много, а читают все меньше. Книги проигрывают войну за внимание коротким видео, стримам и соцсетям. Даже внутри самой культуры идет жесткая конкуренция: классики вытесняют современников просто потому, что их имена уже стали гарантией качества. Особенно это видно в театре: постановку по Чехову или Шекспиру зрители пойдут смотреть даже в авангардной трактовке — ведь они знают, что это за материал. А вот на новую пьесу решатся с опаской: вдруг потратят время и деньги на скучную или глупую историю? Так литература сама себя загоняет в ловушку: чем больше текстов, тем меньше доверия даже тем, кто пробился» (М., 28 лет, прозаик, критик).

Этот пассаж соединяет в себе сразу несколько ключевых тревог. Во-первых, он показывает, как культурное перепроизводство трансформируется в инфляцию доверия. Здесь важен парадокс: чем больше текстов, тем меньше внимания. Избыточность, призванная указывать на широту выбора, в реальности приводит к девальвации. Культура теряет способность к отбору, а читатель — доверие к отобранному. Это ставит под сомнение саму возможность существования авторитета и оценки, прежние механизмы отбора обнуляются.

Во-вторых, автор высказывания артикулирует состояние жесткой конкуренции и вытеснения, где даже успешные современные авторы проигрывают знакомому имени. Это важный симптом: читатель переориентируется на проверенное, отказавшись от риска. То есть предпочтительным становится консервативный вариант репутации, с оглядкой на прошлые достижения.



Литература превращается в зону недоверия, где читатель вынужден защищаться от возможного разочарования и зря потраченных денег. Без институционального фильтра, без критика, без отбора читатель оказывается один на один с потоком и потому интуитивно тяготеет к прошлому, к гарантированному качеству. Это и есть культурная инерция, работающая против нового, настоящего и будущего.

Образ ловушки здесь особенно значим: «литература сама себя загоняет». Это означает, что деградация — не внешний, а внутренний процесс. Это саморазрушающийся режим текстопроизводства, в котором акт публикации текста теряет функцию фильтрации. Все тексты становятся равными, критерии размыты. Редактура, институции, рецензии — все ослаблено, посредничество все больше заменяется логикой прямого контакта автора и читателя. И эта логика порождает хаос, литература из поля смыслов становится полем шума.

К этой логике добавляется суждение другого критика, акцентирующее не столько проблему перепроизводства, сколько инфляцию внимания и утрату навыков глубинного чтения:

«Сейчас главная беда — не отсутствие талантов, а отсутствие читателей. Люди разучились воспринимать длинные тексты. Ты можешь написать шедевр, но его прочтут по диагонали, между сторис и ТикТоком. Мы проигрываем битву за внимание, и это страшнее любой цензуры» (М., 33 года, критик).

Здесь подчеркивается фундаментальный медиумный сдвиг, о котором писал упоминаемый выше Мюррэй: даже сильный текст не спасает, если его формат не соответствует новым когнитивным привычкам. Появляется новая антропология читателя: быстрый, вечно отвлекающийся, он настроен на скроллинг, а не на погружение. Для такого читателя даже шедевр теряет шансы быть воспринятым в своей полноте. Здесь — не просто ресентимент, а глубокое сомнение в самой возможности литературы как формы медленного, последовательного мышления.

Отсюда и метафора битвы за внимание, в которой литература больше не обладает ни оружием, ни стратегией. Это не соревнование, где побеждает лучший текст. Это — медиавойна, где побеждает тот, кто захватил экран. И именно поэтому литература проигрывает не только стримам и сторис, она проигрывает самой инфраструктуре цифрового интерфейса, построенного на мгновенной возбудимости, а не на длительной рефлексии. Возникает своего рода капитализм захваченного и удерживаемого внимания, где ресурсом становится не текст, а секунды фокуса. Это новый рынок, в котором литература — аутсайдер.

Тревоги обобщаются одним из критиков:

«Цифровое пространство впервые заменило литературу в качестве основного источника знания о мире» (Ж., 36 лет, поэт, критик).

Ключевое здесь — впервые. Подчеркивается исторический перелом: литература уступила функцию интерпретации мира, которая традиционно принадлежала ей. Это та самая потеря монополии на смысл. Если раньше писатель, поэт, эссеист, критик претендовали на объяснение действительности, то теперь этой функцией обладают все — и потому никто. Цифровое пространство воспринимается как среда, в которой все возможно, и именно поэтому ничто не закрепляется однозначно, ничто не институционализируется надолго. В отличие от литературы, которая несла в себе функцию социальной памяти, канонизации, медленного смысла, цифра — это среда абсолютной множественности, фрагментации и забвения.

Таким образом, контекст формирования репутаций представлен риторикой поражения, обиды, страхов, тоски по утраченному, а главное — осознанием структурной уязвимости. Это не обычное переживание плохого времени, а рефлексивное в смысле когнитивного смыслообразования свидетельство о сломе системы координат. Наши респонденты, литературные критики, часто совмещающие эту роль с литературным трудом, оказываются не только носителями ресентиментного сознания, но и хроникерами культурной деонифигурации, происходящей на их глазах. Их язык — язык боли и сопротивления, но за ним — важное знание: литература в современной России больше не несет функцию культурного центра, и эта потеря апеллирует не к скорби, а к переосмыслению. Вопрос не в том, как вернуть утраченное, а в том, какую новую функцию может (или не может) выполнять литература в эпоху цифрового рассеивания и институционального вакуума, а также вопрос, как в таком контексте пересобираются литературные репутации.

Репутация литератора

Центральным элементом актуального литературного поля становится фигура писателя как публичного субъекта, который уже давно перестал быть просто создателем текста в классическом понимании. В современном культурном пространстве писатель совмещает в себе функции творца, медиаперсоны, продюсера собственного имиджа и активного участника публичных коммуникаций. Современный автор — не просто человек, который работает над рукописью в уединении, а фигура, которая вовлечена во множество социальных, культурных и медийных процессов, влияющих на его профессиональную и личностную репутацию. Репутация автора сегодня формируется из множества факторов, а качество произведений остается хоть и важнейшим, но далеко не единственным и не всегда определяющим критерием. Поведение автора, его публичный образ, способность выстраивать отношения с аудиторией, соответствие определенным социальным и культурным нормам публичности приобретают не меньшую значимость.

Это обстоятельство создает новое, двойное давление на писателя: он обязан одновременно оставаться настоящим творцом, сосредоточенным на глубине и художественной силе своего произведения, и развивать, продвигать и поддерживать свой медийный бренд, выступать в роли публичной личности, чьи узнаваемость, имидж и умение коммуницировать зачастую



выходят на первый план в его оценке со стороны публики и критики. В эпоху, когда социальные сети и онлайн-платформы диктуют правила видимости, писатель все чаще становится медиапредставителем, который должен уметь маневрировать между творчеством и маркетингом собственного имени. Отсюда возникает постоянное напряжение, вызванное желанием создавать качественную литературу и необходимостью быть заметным и актуальным в информационном поле.

«Если ты хочешь, чтобы тебя читали всерьез, ты должен соответствовать: следить за языком, быть в курсе процессов, участвовать в дискуссиях, презентациях. Быть на виду. Просто написать и ждать — уже не работает» (Ж., 37 лет, критик).

Это высказывание является не только отражением практической необходимости, но и свидетельством смены парадигмы — от уединенного творчества и ожидания открытия к активной публичной деятельности и постоянной медийной вовлеченности. Раньше писатель мог позволить себе сосредоточиться на творческом процессе в уединении, надеясь, что труд будет замечен и оценен критикой и читателями на основе исключительно художественных достоинств. Сегодня же без постоянной публичной активности, без ведения социальных сетей, участия в дискуссиях, выступлений на литературных форумах и взаимодействия с читателями и медийным пространством рассчитывать на серьезное восприятие и успех практически невозможно. Более того, личная жизнь, социальные взгляды и даже политические позиции автора нередко становятся предметом пристального внимания и обсуждения, напрямую влияя на восприятие его творчества.

Одним из ключевых механизмов формирования и перераспределения внимания становится скандал как форма публичного конфликта, в которой нарушаются или подвергаются сомнению социальные нормы, ожидания или границы допустимого. Скандал имеет двойственную природу: с одной стороны, это акт разрушения — подрыв репутации, норм, институциональных устоев; с другой — акт продуктивного обнажения и пересборки границ, через который общество артикулирует свои ценности и напряжения [Adut, 2012]. Скандал всегда связан с нарушением (этическим, эстетическим, политическим или символическим) и в то же время с утверждением нормы: именно в момент конфликта становится ясным, что считается приемлемым и неприемлемым, кем и как это регулируется. В отличие от прежних медийных эпох, где институции фильтровали и направляли потоки внимания, в цифровой среде скандал возникает часто снизу и в режиме реального времени перерастает в событие, способное воздействовать на культурные и институциональные структуры [Вербилович, 2018]. Появляется новая модель скандала: не утечка из закрытых кругов в сферу публичного, а прямое производство публичности, в которой высказывание сразу становится действием.

Литературный скандал представляет собой специфическую форму публичного конфликта, в которой сталкиваются различные представления

о литературе как социальной и символической практике. В центре скандала могут оказаться не только само произведение, его стиль, тематика, политическая позиция автора, но и окружающие его институты: премии, образовательные программы, издательские практики, культурная критика. Таким образом, скандал — это способ артикуляции споров о границах приемлемого, о критериях художественности, о распределении власти и престижа в литературной системе.

Публичная презентация — это новый тип давления на автора. То, что требует от него и мастерства слова, и умения быть публичным субъектом, поддерживать постоянный контакт с аудиторией, управлять своим образом, продвигать себя в медиа. Важна не только литература, но и то, каким образом писатель позиционирует себя в пространстве современных коммуникаций, и часто эта публичная сторона становится весомее, чем сам текст. Об этом прямо говорит другой респондент:

«Репутация — это не только твои тексты, но и то, какой ты человек. Можно писать гениально, но если ведешь себя как скотина, читатели это запомнят...» (М., 36 лет, поэт, критик).

В эпоху социальных медиа и мгновенного распространения информации, когда каждое высказывание и поступок становятся достоянием общественности, одна ошибка, непопулярное мнение или спорное высказывание способны серьезно подорвать репутацию автора вне зависимости от его творческих достижений. Формируется своего рода перманентная репутация, записанная и сохраненная в цифровой памяти, которая будет влиять на имидж и восприятие автора на протяжении длительного времени. Для многих читателей образ автора и его личностные характеристики становятся почти столь же важны, как и качество его произведений, порой даже более значимы.

«Что бы ты ни делал, хорошее или плохое, это навсегда прилипнет к твоему имени. Можно написать 20 шедевров, но все запомнят один провал» (Ж., 80 лет, критик).

Это высказывание отражает ключевую проблему современной культурной среды — феномен перманентного досье, в котором даже масштабные успехи автора можно затмить одним публичным скандалом, ошибкой или ошибочной интерпретацией его слов или действий. Цифровая эпоха не дает пространства для забвения и прощения, она фиксирует и сохраняет всю историю поведения и высказываний автора.

В результате репутация становится своеобразным багажом, который всегда сопровождает писателя, влияя на восприятие его творчества и формируя предвзятость у аудитории и критики. Данный феномен обусловлен не только быстрым распространением информации, но и механизмами медиа, где негатив часто распространяется быстрее и масштабнее позитива. В итоге



даже случайные или малозначимые события могут оказывать долгосрочное влияние на карьеру и имидж автора.

Однако вместе с негативом формируется и тенденция сопротивления этому всеобъемлющему контролю личности автора в публичном пространстве. С точки зрения респондентов важным становится осознание автономии текста, который способен оживить себя вне зависимости от личности и биографии автора.

«Вот смотрите: написал человек книгу. Потом, допустим, наделал глупостей, его раскритиковали, имя испачкали. Но текст-то остался... Репутацию, конечно, можно подмочить, но совсем стереть ее не получится» (М., 55 лет, критик, прозаик).

Респондент подчеркивает, что несмотря на все сложности публичной жизни и давление медиасреды, текст обладает собственной автономией, самостоятельной культурной и художественной ценностью, которая сохраняется независимо от колебаний репутации автора. В этом процессе читатель может выступать не просто пассивным потребителем, но самостоятельным актором, способным отделять произведение от личности его создателя, что становится особенно важным в условиях цифровой среды и информационного потока, насыщенного смешением культурных и социальных сигналов.

Важно отметить, что этот феномен является скорее возвратом к классической идее автономии произведения искусства, о которой говорили уже в эпоху модернизма и постмодернизма. Текст как самостоятельный субъект культурного пространства способен выдержать испытание временем и отделиться от биографической и моральной оценки автора. При этом роль читателя не сводится к пассивному восприятию текста, а предполагает активное участие в формировании смысла и культурного значения произведения. Читатель становится соавтором смыслов, что особенно актуально в условиях массового и сетевого характера современной культуры.

Таким образом, перед нами предстает сложная, многогранная и внутренне противоречивая картина современного литературного поля. С одной стороны, наблюдается упадок традиционных моделей писательской деятельности, которые базировались на институциональной поддержке, уважении к канонам и роли критика и издательства как фильтров качества. С другой — формируются новые стратегии цифрового самопозиционирования и поддержки цифровых репутаций, где важную роль играют цифровые технологии, медиаактивность автора и постоянная коммуникация с аудиторией.

Эмоции ресентимента, тоски и страха перед будущим соседствуют с робкой надеждой на трансформацию, которая позволит старым нормам уступить место новым, пока еще не полностью оформленным, но уже активно действующим. Этот переход сопровождается как потерями — в виде утраты привычных культурных институтов и моделей, так и возможностями для переосмысления роли писателя, критика и читателя в цифровую эпоху, создания более гибких и адаптивных форм литературного существования. Новые технологии

и платформы открывают авторам небывалые возможности для самовыражения и прямой коммуникации с читателями, но вместе с этим создают риски фрагментации культуры, утраты критической рефлексии и снижения качества художественного продукта. В этих условиях важно искать баланс между свободой творчества, необходимостью публичности и сохранением глубины и смысла литературного текста.

Заключение

В результате исследования мы пришли к выводу, что современное литературное поле России находится в состоянии глубокой трансформации, перехода от прежних моделей культурного производства к иным. В этом контексте уместен композитный характер моделирования репутации как социокогнитивного конструкта путем включения контекста и его событий в описание его специфики, а также путем привлечения характеристик других вовлеченных в это поле акторов.

Эмпирически в ходе исследования мы обнаружили ряд тенденций.

Фиксируется дискурсивная утрата — размывание институционального центра, превращение литературы и акторов литературного процесса из властителей дум в маргинальных участников культурного процесса, чей голос тонет в шуме цифровых платформ.

Визуализирован цифровой поворот, вследствие чего меняется представление о литературной репутации: теперь писатель ее накапливает не только как творческий деятель, но и как медиаперсона, продюсер собственного имиджа и активный участник публичных коммуникаций, чья узнаваемость, имидж и умение коммуницировать — часть литературного успеха.

Меняется сама суть литературных скандалов как прежних механизмов разрушения репутаций. Теперь это механизм формирования и перераспределения внимания; не утечка из закрытых кругов в публичность, а немедленное производство публичности, где само высказывание литератора становится частью репутационного менеджмента.

Перспективы развития литературного поля связаны с поиском новых форм адаптации к этим вызовам. Особый исследовательский интерес представляют практики сопротивления и адаптации, которые вырабатывают участники поля в ответ на эти вызовы. С этим и связаны перспективы наших будущих исследований. К осознаваемым ограничениям настоящего исследования мы отнесем отсутствие читательской инстанции как потенциально важного аспекта формирования литературных репутаций.

Литература / References

Вербилович О. Е. «Запрещенный прием»: инвалидность и публичный скандал в традиционных и интернет-медиа // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2018. № 1. С. 253–266. DOI: <https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.1.13> EDN: YQUCQO



Verbilovich O. Ye. (2018) "Forbidden Technique": Disability and Public Scandal in Traditional and Online Media. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: Ekonomicheskiye i sotsialnyye peremeny* [Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes]. No. 1. P. 253–266. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.1.13>

Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003. EDN: QXGGCB

Kvale S. (2003) *Issledovatel'skoye intervyyu* [InterViews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing]. Moscow: Smysl. (In Russ.)

Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем / Пер. с англ А. Н. Баранова, А. В. Морозовой. М.: Издательство Эдиториал УРСС, 2004. EDN: QRAADX

Lakoff G., Johnson M. (2004) *Metafora, kotorymi my zhivem* [Metaphors We Live By]. Transl. from Eng. by A. N. Baranov, A. V. Morozova. Moscow: Izdatelstvo URSS. (In Russ.)

Рейтблат А. И. Как Пушкин вышел в гении: Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. М.: Новое литературное обозрение, 2001. EDN: ZSIOEF

Reytblat A. I. (2001) *Kak Pushkin vyshel v genii: Istoriko-sotsiologicheskiye ocherki o knizhnoy kulture Pushkinskoy epokhi* [How Pushkin Became a Genius: Historical and Sociological Essays on the Book Culture of the Pushkin Era]. Moscow: Novoye literaturnoye obozreniye. (In Russ.)

Adut A. (2012) A Theory of the Public Sphere. *Sociological Theory*. Vol. 30. No. 4. P. 238–262. DOI: <https://doi.org/10.1177/0735275112467012>

Amlinger C. (2021) *Schreiben: Eine Soziologie Literarischer Arbeit*. Berlin: Suhrkamp. DOI: <https://doi.org/10.1515/arb-2022-0047>

Anderson C., Shirako A. (2008) Are Individuals' Reputations Related to Their History of Behavior? *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 94. No. 2. P. 320–333. DOI: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.94.2.320>

Barnwell A. (2015) Enduring Divisions: Critique, Method, and Questions of Value in the Sociology of Literature. *Cultural Sociology*. Vol. 9. No. 4. P. 550–566. DOI: <https://doi.org/10.1177/1749975515587716>

Backe H.-J. (2015) The Literary Canon in the Age of New Media. *Poetics Today*. Vol. 36. No. 1–2. P. 1–31. DOI: <https://doi.org/10.1215/03335372-2879757>

Becker H. S. (1982) *Art Worlds*. Berkeley: University of California Press. DOI: <https://doi.org/10.1525/9780520934870>

Bourdieu P. (1984) *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge: Harvard University Press.

Bourdieu P. (1996) *The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field*. Cambridge: Polity Press.

Childress C. (2017) *Under the Cover: The Creation, Production, and Reception of a Novel*. Princeton: Princeton University Press. DOI: <https://doi.org/10.2307/j.ctt1vxm7zv>

Clifford J., Marcus G. E. (1986) *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography*. Los Angeles: University of California Press.

Cottrell C. A., Neuberg S. L., Li. N. P. (2007) What Do People Desire in Others? A Sociofunctional Perspective on the Importance of Different Valued Characteristics. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 92. No. 2. P. 208–231. DOI: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.92.2.208>

Craik K. H. (2008) *Reputation: A Network Interpretation*. New York: Oxford University Press.

De Bellaigue E. (2008) "Trust Me. I'm an Agent": The Ever-Changing Balance between Author, Agent and Publisher. *Logos*. Vol. 19. No. 3. P. 109–119. DOI: <https://doi.org/10.2959/logo.2008.19.3.109>

De Bruin E. N. M., van Lange P. A. M. (1999) Impression Formation and Cooperative Behavior. *European Journal of Social Psychology*. Vol. 29. P. 305–328. DOI: [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-0992\(199903/05\)29:2/3%3C305::AID-EJSP929%3E3.0.CO;2-R](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0992(199903/05)29:2/3%3C305::AID-EJSP929%3E3.0.CO;2-R)

English J. (2005) *The Economy of Prestige: Prizes, Awards, and the Circulation of Cultural Value*. Cambridge: Harvard University Press.

- English J. (2010) Everywhere and Nowhere: The Sociology of Literature after "the Sociology of Literature". *New Literary History*. Vol. 41. No. 2. P. 5–23. DOI: <https://doi.org/10.1353/nlh.2010.0005>
- Emerson R.M., Fretz R.I., Shaw L.L. (1995) *Writing Ethnographic Fieldnotes*. Chicago: University of Chicago Press.
- Feinberg M., Willer R., Keltner D. (2012) Flustered and Faithful: Embarrassment as a Signal of Prosociality. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 102. No. 1. P. 81–97. DOI: <https://doi.org/10.1037/a0025403>
- Feinberg M., Willer R., Schultz M. (2014) Gossip and Ostracism Promote Cooperation in Groups. *Psychological Science*. Vol. 25. No. 3. P. 656–664. DOI: <https://doi.org/10.1177/0956797613510184>
- Franssen T., Kuipers G. (2013) Coping with Uncertainty, Abundance and Strife: Decision-Making Processes of Dutch Acquisition Editors in the Global Market for Translations. *Poetics*. Vol. 41. No. 1. P. 48–74. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.poetic.2012.11.001>
- Fuller D., Sedo D.R. (2013) *Reading Beyond the Book: The Social Practices of Contemporary Literary Culture*. London; New York: Routledge. DOI: <https://doi.org/10.4324/9780203067741>
- Fürst H. (2018) Making the Discovery: The Creativity of Selecting Fiction Manuscripts from the Slush Pile. *Symbolic Interaction*. Vol. 41. No. 4. P. 513–532. DOI: <https://doi.org/10.1002/symb.360>
- Gabriel M. (2020) *Fiktionen*. Berlin: Suhrkamp.
- Geertz C. (1977) *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Books.
- Goffman E. (1959) *The Presentation of Self in Everyday Life*. New York: Anchor Books.
- Griswold W. (1987) The Fabrication of Meaning: Literary Interpretation in the United States, Great Britain, and the West Indies. *American Journal of Sociology*. Vol. 92. No. 5. P. 1077–1117. DOI: <https://doi.org/10.1086/228628>
- Jazaieri H., Allison M.L., Campos B., Young R.C., Keltner D. (2019) Content, Structure, and Dynamics of Personal Reputation: The Role of Trust and Status Potential within Social Networks. *Group Processes & Intergroup Relations*. Vol. 22. No. 7. P. 964–983. DOI: <https://doi.org/10.1177/1368430218806056>
- Knöchelmann M. (2024) Cultural Intermediation and Civil Society: Towards a Hermeneutically Strong Conception. *Cultural Sociology*. Vol. 19. No. 3. P. 374–395. DOI: <https://doi.org/10.1177/17499755241228891>
- Lang G.E., Lang K. (1988) Recognition and Renown: The Survival of Artistic Reputation. *American Journal of Sociology*. Vol. 94. No. 1. P. 79–109. DOI: <https://doi.org/10.1086/228952>
- Laurenson D., Swingewood A. (1971) *The Sociology of Literature*. London: MacGibbon and Kee.
- Marquard O. (2020) Über die Unvermeidlichkeit der Geisteswissenschaften. In: *Zukunft braucht Herkunft: Philosophische Essays*. Ditzingen: Reclam. P. 171–189.
- Moretti F. (2005) *Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History*. London; New York: Verso.
- Mouffe C. (1995) "Post Marxism: Democracy and Identity". *Environment and Planning: Society and Space*. Vol. 13. P. 259–265. DOI: <https://doi.org/10.1068/d130259>
- Murray S. (2015) Digital Literary Cultures. *New Media & Society*. Vol. 17. No. 6. P. 935–950.
- Murray S. (2018) *The Digital Literary Sphere: Reading, Writing, and Selling Books in the Internet Era*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Negus K. (2002) The Work of Cultural Intermediaries and the Enduring Distance between Production and Consumption. *Cultural Studies*. Vol. 16. No. 4. P. 501–515. DOI: <https://doi.org/10.1080/09502380210139089>
- Parkhurst Ferguson P., Desan P., Griswold W. (1988) Editors' Introduction: Mirrors, Frames, and Demons: Reflections on the Sociology of Literature. *Critical Inquiry*. Vol. 14. No. 3. P. 421–430. DOI: <https://doi.org/10.1086/448448>
- Rindova V.P., Williamson I.O., Petkova A.P., Sever J.M. (2005) Being Good or Being Known: An Empirical Examination of the Dimensions, Antecedents, and Consequences of Organizational Reputation. *Academy of Management Journal*. Vol. 48. No. 6. P. 1033–1049. DOI: <https://doi.org/10.5465/amj.2005.19573108>



Roberts P.W., Dowling G.R. (2002) Corporate Reputation and Sustained Superior Financial Performance. *Strategic Management Journal*. Vol. 23. No. 12. P. 1077–1093. DOI: <https://doi.org/10.1002/smj.274>

Steiner A. (2018) The Global Book: Micropublishing, Conglomerate Production, and Digital Market Structures. *Publishing Research Quarterly*. Vol. 34. No. 1. P. 118–132. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12109-017-9558-8>

Tennie C., Frith U., Frith C.D. (2010) Reputation Management in the Age of the World-Wide Web. *Trends in Cognitive Sciences*. Vol. 14. No. 11. P. 482–488. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tics.2010.07.003>

Thompson J.B. (2010) *Merchants of Culture: The Publishing Business in the Twenty-First Century*. Cambridge: Polity Press.

Whitmeyer J.M. (2000) Effects of Positive Reputation Systems. *Social Science Research*. Vol. 29. No. 2. P. 188–207. DOI: <https://doi.org/10.1006/ssre.1999.0663>

Willer R. (2009) Groups Reward Individual Sacrifice: The Status Solution to the Collective Action Problem. *American Sociological Review*. Vol. 74. No. 1. P. 23–43. DOI: <https://doi.org/10.1177/000312240907400102>

Сведения об авторе:

Рязанцев Александр Павлович — аспирант, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия. **E-mail:** ariazantsev@hse.ru. **РИНЦ Author ID:** [1039469](https://www.rinccentral.com/author/1039469).

Статья поступила в редакцию: 17.07.2025

Принята к публикации: 25.08.2025

BAK 5.4.4.



Literary Reputation in the Modern Literary Field: The Critic’s View³

DOI: [10.19181/inter.2025.17.3.3](https://doi.org/10.19181/inter.2025.17.3.3)

Alexander P. Ryazancev HSE University, Moscow, Russia
E-mail: ariazantsev@hse.ru

The article focuses on the concept of literary reputation and its research. Based on the concept of cultural mediation, literary production is considered broader than the author — reader pair and includes other intermediaries — critics, publishers, editors, etc., who form interpretations of a literary product, support the literary canon, and thereby participate in the construction of literary reputation. Reputation is understood as a consistent and stable assessment of an individual, formed through discussion in a social group, that is, discursively. Literary reputation has a relational origin, it is formed not only on the basis of the author’s texts, but also as a result of the statements of other actors in the literary field; it is a social construct that combines the artistic value of a literary product, institutional recognition and cultural expectations. An empirical

³ The material in this article is based on the results of research conducted during the writing of his PhD thesis on the topic: “Literary reputation in the digital age: fields, actors, mechanisms of reproduction”.

reconstruction of literary reputation based on 35 semi-structured interviews with literary critics shows that, since such a reputation is formed not only through texts, but also through interaction with critics, publishers and other intermediaries, and also depends on public perception, a modern writer is forced to go beyond purely creative activities. He must not only create works, but also actively shape his media image by participating in public communications, managing reputational capital, which depends on recognition, image, personal views and is influenced by public opinion and media scandals.

Keywords: literary figures; cultural mediation; reputation; interview; literary critics

Author Bio:

Alexander P. Ryazancev — Graduate Student, HSE University, Moscow, Russia.

E-mail: ariazantsev@hse.ru. **RSCI Author ID:** [1039469](#).

Received: 17.07.2025

Accepted: 25.08.2025

Исследовательская рефлексия



DOI: 10.19181/inter.2025.17.3.4
EDN: FGZSUI

Проницаемые границы исследовательской субъектности в религиозном поле¹

Ссылка для цитирования:

Балацук Е. С., Володин Д. М. Проницаемые границы исследовательской субъектности в религиозном поле // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2025. Т. 17. № 3. С. 79–95. <https://doi.org/10.19181/inter.2025.17.3.4> EDN: FGZSUI

For citation:

Balatsyuk E. S., Volodin D. M. (2025) The Permeable Boundaries of Research Subjectivity in the Religious Field. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 17. No. 3. P. 79–95. <https://doi.org/10.19181/inter.2025.17.3.4>



Балацук Елизавета Сергеевна

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
Санкт-Петербург, Россия
E-mail: ebalatsyuk@hse.ru



Володин Даниил Михайлович

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
Санкт-Петербург, Россия
E-mail: ancienttneicna@gmail.com

В статье рассматривается проблема формирования границ исследовательской субъектности в процессе этнографической работы. Разведение ролей исследователя-полевого и исследователя-теоретика предлагается в качестве методологического эксперимента, который позволяет углубить представление об анализе эмпирического материала. Как на исходный кейс авторы статьи опираются на данные дневников наблюдения, собранные в ходе

¹ Публикация подготовлена в рамках проекта научно-учебной группы «Социальные исследования религии», поддержанного Научным фондом, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

полевой работы в общине неопятидесятников Санкт-Петербурга. На основе теоретического анализа с использованием феноменологического подхода, а также в процессе саморефлексии относительно позиций исследователя-полевого и исследователя-теоретика удалось выявить специфику наложения жизненного мира повседневности (А. Шюц) на мир науки и мир религии и показать, как пересобираются границы исследовательской субъектности, как избранная аналитическая позиция приводит к пониманию и концептуализации жизненного мира исследуемого сообщества, что происходит через ментальные процессы сближения, конфликта или расхождения с жизненным миром и позицией респондентов (неопятидесятников).

Важным результатом исследования является апробация общей схемы работы с этнографическими полевыми данными, что актуально в контексте проектной науки и междисциплинарных исследований.

Ключевые слова: этнография; субъектность исследователя; феноменологический подход; жизненные миры

Введение

Эта статья стала возможной благодаря реализации проекта, в рамках которого предстояло проанализировать данные о религиозных группах Санкт-Петербурга. Объединенные общей задачей, мы пришли к идее описать разный опыт погружения исследователя в эмпирическое поле и разделили наше описание на два «я», первое из которых — это позиция исследователя-полевого, собиравшего эмпирические данные в ходе этнографической работы и имевшего устойчивую связь с полем и его субъектами, а второе — позиция исследователя-теоретика, пребывавшего в поле ситуативно и только в качестве независимого наблюдателя, своего рода ученого-фланера, анализировавшего сообщество с позиции социальных теорий.

Мы считаем, что данный методологический эксперимент способен проиллюстрировать ключевой исследовательский вопрос статьи: как именно практика, попадающая в фокус исследовательского внимания, становится транзитной точкой между миром науки и миром религии, основой понимания ситуации и акторов в пространствах научного или религиозного знания, точкой перехода от полевой работы к теории.

Феноменологический подход в поле религии

В данной работе мы опираемся на феноменологическую традицию Альфреда Шюца, определяющего реальность как одновременно объективное и интерсубъективное явление, разделяющее повседневность на множество жизненных миров: мир фантазии, мир рабочих операций, мир сновидений, мир религиозного опыта, а также другие специфические жизненные миры,



среди которых мир повседневности является верховным, универсальным онтологическим фундаментом других реальностей [Шюц, 2003; Ситников, 2019]. Универсальность повседневности объясняется тем, что она предшествует другим мирам в опыте субъекта: именно здесь человек сначала обретает физическое бытие и действует среди других людей, благодаря чему мир повседневности наделяется интересубъективностью [Шюц, 2003]. В теории Шюца практики и их воспроизводство субъектом в мире повседневности заключены в отдельную страту реальности — мир рабочих операций [Шюц, 2003: 12–15].

Миры повседневности образуют смысловые области, каузальность которых определяется соответствующим стилем восприятия и воспроизводства практик, ощущением времени и рефлексии своего «я» [Шюц, 2003]. Такой набор правил проживания жизненных миров А. Шюц называет когнитивным стилем, и именно этот элемент его феноменологической концепции наделяет жизненные миры их специфичностью.

Под специфичностью когнитивного стиля следует понимать «степень неподобности» практического опыта, дискурсов и физических практик (рабочих операций) [Шюц, 2003] разных жизненных миров, причем некоторые из них оказываются неуподобляемы друг другу. Так, мир религии является конечной областью смысла — его когнитивный стиль невозможно адаптировать к другим жизненным мирам [Ситников, 2019]. Из этого следует, что значимость феноменологического подхода при рассмотрении религиозного опыта верующих обусловлена его интересом к интересубъективности, что позволяет понять их способ восприятия и проживания реальности [Knibbe, Versteeg, 2008].

Несмотря на специфичность когнитивных стилей, границы между жизненными мирами могут быть проницаемы. Теория фреймов Ирвинга Гофмана демонстрирует возможность транспонирования (наложения) рамок реальности — частичного переноса стиля из одного жизненного мира в другой [Гофман, 2003: 101–108]. Аналогично, как пишет Алексей Ситников, возможно наложение миров науки и религии [Ситников, 2019].

И наука, и религия относятся к конечным областям смысла и характеризуются специфическим когнитивным стилем, который одновременно отделяет их от повседневности и связывает с ней посредством особых практик. Обе сферы используют действия, физически совершаемые в обыденной жизни, но осмысляемые как часть иной реальности [Шюц, 2003]. Например, наука теоретически переосмысляет повседневные действия, отрывая их от исходного контекста (включая в специальный научный дискурс), тогда как религия осмысляет обыденные поступки через призму взаимодействия с Богом. Применительно к нашему кейсу такое наложение мира науки на мир религии будет происходить в процессе объяснения смысла производимых практик в исследуемом неопятидесятническом сообществе с точки зрения социологической теории.

Феноменологическая рамка будет задействована путем экспериментального разграничения исследовательских позиций исследователя-полевика и исследователя-теоретика. Под разграничением в данном случае следует понимать способность «я» (то есть субъекта) [Шюц, 2003] социального

исследователя быть гибким, адаптироваться к различным жизненным мирам и соответствующим им когнитивным стилям без потери возможности возврата к исходному жизненному миру и когнитивному стилю науки.

Причина такого разграничения субъектностей обусловлена как контекстом коллективной работы в проекте для ускорения и облегчения анализа данных, так и особенностями самого формата предлагаемого методологического эксперимента. Нулевой координатой разграничения ролей стала разная степень включения в поле. Сбор данных и участие в полевой работе осуществлялся только одним исследователем, тогда как теоретик работал с уже готовым дневником наблюдений, представленным полевиком. Общей точкой аналитической работы и полевика, и теоретика стала кодировка дневников наблюдений с помощью устоявшихся процедур анализа. Обе позиции имеют как свои преимущества, так и свои ограничения, что отразилось на процессе анализа.

Так, позиция теоретика не позволяет привлечь автоэтнографические наблюдения, а его «транзигция» в жизненный мир неопятидесятников происходила опосредованно, через дневники другого исследователя. Позиция полевика в рамках предложенного эксперимента предполагает принятие заданной дедуктивно теоретической рамки и концепции жизненного мира в качестве аналитической схемы. И полевик, и теоретик в ходе анализа стремятся воссоздать процесс проникновения мира науки в мир религии, что создает общее пространство для дискуссии между двумя исследовательскими позициями.

Кто такие неопятидесятники

Неопятидесятники являются частью более широкого протестантского течения — евангельского христианства. Общими чертами евангелических церквей считается признание Библии в качестве ключевой опоры в вероучении и буквальное следование ее нормам в повседневной жизни, а также вера в духовное пробуждение, путь к которому лежит через признание искупительной жертвы Иисуса Христа [Robbins, 2004; Панченко, 2013].

Большую роль в пятидесятничестве имеет нарративная традиция, которая выражается в описании свидетельств о приходе к вере и о крещении Святым Духом (говорение, конверсионный нарратив) [Поплавский, Ключева, 2013]. Пятидесятническое движение не едино, и характер служений во многом зависит от места и локальной культуры, в которой находится церковь. Рассматриваемая нами церковь может быть отнесена к течению новых пятидесятников, возникшему в рамках харизматического движения церквей, в которых практикуется глоссолалия² и принимается идея крещения Святым Духом [Robbins, 2004; Ключева, Поплавский, Бобров, 2013].

Неопятидесятники относятся к харизматическому течению евангеликов. Это подразумевает веру участников церкви в чудеса и сверхъестественные

² Молитва на «иных языках», представляющая собой речевую практику, которая состоит из бессмысленных слов и неологизмов.



проявления Святого Духа [Wignall, 2016], личностный духовный рост, происходящий через улучшение отношений верующего с Господом [Кормина, 2013], яркие форматы служений, активное применение современных медийных технологий как для распространения информации в целях создания единой христианской среды [Meuer, 2010], так и для служений [Campbell, 2022]. Еще одной характерной чертой пятидесятничества становится восприятие идентичности человека как непостоянной, направленной на регулярные изменения [Meuer, 2010], что выражается в обретении новых культурных и социальных связей у неопитов после прихода к вере, а также в их стремлении совершенствоваться в своем духовном развитии. Такое развитие подтверждается верующими через нарративы о свидетельствах³ Божественного присутствия в их жизни.

(He) связаны одним полем: методология и этическая позиция

Данное этнографическое полевое исследование проводилось в крупной неопятидесятнической общине Санкт-Петербурга на протяжении трех лет, начиная с 2022 года. Работа предполагала изучение людей и их практик в контексте повседневности путем включенного наблюдения, то есть через погружение исследователя в повседневный мир информантов. В соответствии с этнографическим подходом анализ был направлен на детальную работу с неструктурированными данными при изучении небольшого числа случаев и интерпретацию значений наблюдаемой социальной реальности [Hammersley, Atkinson, 2019].

Полевая работа велась как во время служб и официальных церковных мероприятий, так и во время посещения домашних групп и совместного проведения досуга с прихожанами. Участвуя в практиках информантов, как религиозных, так и повседневных, исследователь-полевик стремился приблизиться к пониманию тех смыслов, которые лежали в основании жизненных миров [Шюц, 2003; Pula, 2020] неопятидесятников, и при этом сохранить свою академическую субъектность.

Основным источником эмпирических данных в рамках данной статьи являются полевые дневники, собранные исследователем-полевиком в период с 2022 по 2025 год, они же использовались в качестве базы исследователем-теоретиком. Эта особенность заслуживает отдельного уточнения, так как работа с чужими полевыми дневниками является дискуссионной [Форум..., 2018]. В социологической традиции анализ чужих дневников является отдельным исследовательским методом, чаще используемым для исследования эмоций, сенситивных аспектов повседневной жизни у информантов [Галкин, 2021]. Использование дневников именно социологов-исследователей для анализа

³ Рассказ верующего об обращении и/или о произошедших с ним чудесах и сверхъестественных событиях, отражающих Божественное присутствие в жизни человека.

с других исследовательских позиций встречается в академическом сообществе реже, и часто такие исследования имеют выраженный ретроспективный характер [Хаховская, 2021].

Тем не менее при написании данной статьи мы руководствовались тем, что в условиях ответственного отношения к этическим исследовательским принципам, а также с учетом всех сложностей при сохранении полевого опыта [Tiainen, Koivunen, 2006] чужие дневники могут быть важным источником данных. Сторонний взгляд на собранные данные помогает иначе интерпретировать исходный материал и тем самым расширить анализ.

В процессе написания данного текста как исследователь-полевик, так и исследователь-теоретик руководствовались принципом «не навреди» (информанту), являющимся частью профессиональной компетенции ученого [Гудова, 2019].

Мир исследовательской повседневности и мир религиозного опыта: точки разрывов и соприкосновений

Анализ дневниковых записей показал, что ключевым сюжетом, обозначающим границы двух разных видов исследовательской субъектности, становится конфликт. В нем проявлялось столкновение жизненного мира исследователя с жизненным миром исследуемых, в данном случае неопятидесятников, что выражалось в разной интерпретации тех или иных практик и ценностей, как религиозных, так и секулярных. С помощью метода обоснованной теории А. Страусса и Дж. Корбин [Страусс, Корбин, 2001], техник открытого и осевого кодирования в дневниках наблюдений полевого были выделены ключевые номинации, обозначающие конфликт: «Бог как ключевой актер», «расхождение практик», «разница интерпретаций», «критическая оценка наблюдателя». В дальнейшем, при более детальном анализе мы продемонстрируем, что именно эти точки расхождений становятся центральным моментом для обозначения и понимания жизненного мира неопятидесятников. Далее мы представляем анализ с двух позиций — исследователя-полевого и исследователя-теоретика.

Исследователь-полевик⁴

В этом разделе я представлю исследовательскую рефлексию относительно практик верующих с позиции исследователя-полевого. Чтобы понять intersubъективные (общеразделяемые) смыслы и практики общины неопятидесятников, мне было важно погрузиться в их повседневность. Свой статус социолога я никогда не скрывала от информантов. Такая открытость предполагала изначальное наличие дистанции между мной и прихожанами церкви. Участников общины объединяла вера и общая цель — жизнь с Богом,

⁴ Авторство данного раздела принадлежит Балацюк Е. С.



в то время как мое пребывание в сообществе было обусловлено исследовательским интересом. Постепенно выстраивая доверительные отношения с прихожанами, разделяя с ними свои собственные проблемы и сложности, я заслужила доверие с их стороны и возможность узнать об их жизни и переживаниях чуть больше, чем они говорят об этом публично.

Предполагалась открытость и в вопросе веры. В поле я часто представлялась как агностик, что в целом было близко моим личным взглядам и отношению к трансцендентному. Такая промежуточная позиция воспринималась не столь критично, как позиция атеиста, но для информантов означала мою меньшую осведомленность и степень экспертности в вопросах веры. Это позволяло услышать более подробные объяснения, иногда похожие на поучение и приобщение к опыту, но в то же время подразумевающие некое скептическое отношение к моим последующим интерпретациям со стороны евангеликов. В какой-то степени мои личные переживания о наукообразии моего языка и о разнице в интерпретациях резюмировала беседа с одним из прихожан церкви:

«Олег поделился своими впечатлениями от моей статьи о евангелической маскулинности. Как он сказал, ему она показалась интересной, только язык был „сверхзаумным“, а еще осталось впечатление, что я в ней „препарировала христиан“. Все это было сказано в шуточной форме, но теперь я задумываюсь, как сделать свои тексты более человечными» (Запись из дневника наблюдений, 27.03.2024).

Подобные различия проявились и в понимании целей самого исследования. Наиболее часто информантами озвучивалась идея, что я пришла к своему исследованию не случайно. После интервью или во время совместного времяпрепровождения прихожане церкви неоднократно интерпретировали мое нахождение в поле как «божественный промысел», который в итоге приведет меня к «самому прекрасному саду», то есть к обретению Бога. Сам же факт написания крупной исследовательской работы о евангеликах понимался ими как способ публичного высказывания о своей вере в условиях секулярного общества, то есть некая евангелизация, неосознанно, по их мнению, совершаемая мною:

«Мой знакомый Коля рассказал ей, что находится в духовных поисках. Полина, одна из участниц домашней группы, пошутила, что теперь он знает, в какую сторону стоит склониться, а обратившись ко мне сказала: „Ты хоть не христианка, а занимаешься благовестием“» (Запись из дневника наблюдений, 13.06.2024).

Такое расхождение в понимании причин моего присутствия в общине было обусловлено тем, что для моих информантов ключевым социальным актором являлся Бог. Именно этот сверхъестественный актор, по их мнению, предопределяет те или иные события в жизни. Рефлексивное распознавание

и принятие воли этого социального актора в своей повседневной жизни позволяет информантам производить альтернативные секулярным смыслы, составляющие их жизненный мир.

Расхождения между моим миром и жизненным миром моих информантов проявлялась и на уровне практик, наблюдение и включение в которые не всегда позволяло сопереживать. Ярче всего оно проявлялось во время молитв и глоссолалий: если для верующих это был момент соприкосновения с Богом, коммуникации с ним, то для меня эта практика стала инструментом для погружения в свои эмоциональные переживания.

«Толпа вокруг ощущалась как единый живой организм. На несколько минут я закрыла глаза, вслушиваясь в происходящее. Даже в такой атмосфере единения, с учетом усталости организма и потому как будто бы большей гибкости сознания, я ничего не ощущала. Мысленно я повторяла за пастором его молитву, как до этого иногда проговаривала строчки песен прославления. Но и это не возымело никакого эффекта. Видимо, моего сердца сложно коснуться» (Запись из дневника наблюдений, 08.08.2024).

Я так и не смогла сама пережить подобный опыт. Включенность в общение внутри церкви не дала бы здесь большего понимания практического опыта информантов. Ведь для них главным субъектом коммуникации выступает скрытый от меня актор — Бог, общения с которым я не могла достигнуть. Невозможность обуславливалась этическими соображениями: принятие дара Святого Духа предполагало связь с Богом и подтверждение статуса верующего, кем я не являлась ни в момент вхождения в поле, ни в момент, когда я его оставила. Непосредственное же перенимание схем поведения верующих могло привести к утрате созерцательной исследовательской позиции: именно подобные молитвенные практики стали границей размежевания меня с моим исследовательским полем.

Если говорить о расхождении смыслов, то здесь точками разрыва между мной и информантами являлись разница в понимании одних и тех же наблюдаемых событий и ценностные несовпадения, усиливающие ощущение чуждости исследователя в поле. Характерной была ситуация, где мое понимание сюжетов из Священного Писания не совпадало с пониманием членов церкви. Если для верующих отрывки из Писания выступали основанием для понимания собственной повседневности, мне такой перенос фрагментов Библии на личный жизненный опыт не казался релевантным:

«Сегодня мы разбирали 7 главу Послания к коринфянам. В моем ответе прозвучало предположение, что даже у верующих людей в семье могут быть разногласия и разные ценности. Антон заметил: у верующих супругов одна цель и путь (познание Бога), им вместе будет проще решать конфликты, не надо усложнять [понимание отрывка из Писания]» (Запись из дневника наблюдений, 24.08.2023).



Неоднократно ощущение чуждости подкреплялось ценностными несовпадениями. Это могло касаться как моего критического отношения к некоторым гендерным нормам внутри церкви (подчинение феминного маскулинному, гетеронормативность), так и моего отношения к некоторым социальным проблемам. Так, вера участников церкви в практики исцеления⁵ и их свидетельства об этом не соответствовали моим представлениям о физиологии человека. Более того, вера в исцеление и обсуждение возможности подобного чуда могли привести и к серьезному этическому вопросу: в какой мере я, как внешний наблюдатель, могу вмешиваться в порядок и установки людей, которые доверили мне свой опыт?

Точки соприкосновения и возможного принятия логики поля случались. В своих дневниках я обозначила это как переживание мистического опыта, давая ему как рациональную интерпретацию, так и озвучивая интерпретацию своих информантов:

«После нашего разговора Аня спросила: „Могу ли я за тебя помолиться?“ Я согласилась. Аня молилась за то, чтобы я получила свой „десерт“, то есть обрела веру в сердце. Аня также попросила проявить Его волю в моей жизни (...) На сегодня я запланировала покупку обуви. Я знала, во сколько мне обойдется по сумме покупка, но на кассе внезапно выяснилось, что „мне вообще повезло“. Оказалось, что с моей давней покупки в другом магазине в качестве бонуса начисляется скидка в 20%. Будь я верующей, подумала бы, что так Господь экономит мои финансы» (Запись из дневника наблюдений, 31.03.2024).

Этот эпизод показывает, что принятие жизненных смыслов изучаемой группы неопятидесятников становится способом облегчить транзит из жизненного мира моей повседневности в жизненный мир информантов. Интерпретация необъяснимого опыта и через рациональные категории, и через категории евангеликов позволяет временно погружаться в их повседневность, при этом сохраняя иную, рациональную систему интерпретаций.

Но не менее продуктивными с точки зрения понимания жизненного мира членов рассматриваемой общины были и описанные выше ситуации конфликта. Именно столкновение моих рационализирующих установок с миропониманием информантов позволило осуществить значимые для дальнейшей аналитической работы инсайты, например, выделить Бога в качестве ключевого социального актора, который предопределяет события в жизни верующего. Взаимодействия информантов с этим актором, выстраиваемые ими рефлексивные отношения становятся ресурсом к переопределению окружающей действительности, к производству интерпретаций, которые отличны от смыслов и ценностей секулярного общества (например, понимание исследовательской работы социолога как Божественного промысла).

⁵ Харизматические христиане верят в возможность сверхъестественного исцеления от физических заболеваний и/или психических расстройств.

Наложение мира науки и мира религии, таким образом, раскрывается через рефлексивную исследовательскую дистанцию, несовпадение интерпретаций (конфликт) и частичное усвоение логики поля в отдельных ситуациях. Мир науки и религии как системы значений исследователя и неопятидесятнической общины исходят из разных ориентаций — условного рационального академического знания (мир науки) и веры в Божественное предопределение (мир религии). Эти системы значений существуют параллельно друг другу, но во время проведения этнографической работы переживали столкновение. Сохраняемая дистанция с полем позволяет фиксировать моменты неперево-димости смыслов и практик, значимых для рассматриваемого сообщества неопятидесятников. Именно в расхождении интерпретаций и частичном усвоении логики поля (как было в случае переживания мистического опыта) можно было увидеть разницу между «их» и «моим» видением события, границы между нашими жизненными мирами.

Исследователь-теоретик⁶

Дальнейший текст представит анализ с позиции исследователя-теоретика. В исследовании повседневности любых сообществ центральным объектом наблюдения являются практики, в случае с изучением жизненного мира верующих такими значимыми практиками являются ритуалы, воспроизводимые в мире рабочих операций [Шюц, 2003]. Религиозные ритуалы представляют собой наглядные практики соприкосновения верующих с Богом, которые позволяют увидеть границы жизненного мира верующих.

В случае с неопятидесятниками граница оказывается более зыбкой на первый взгляд. Характерным примером здесь является отсутствие жесткой регламентации, контролирующей телесность человека: для посещения богослужений не нужно носить специальную одежду, то есть не нужно специфическим образом репрезентировать собственное тело. Нахождение в кругу таких же людей, визуально ничем не отличающихся от прохожих на улице, может создавать ощущение совпадения жизненных миров в связи с отсутствием выраженного напряжения, описываемого Шюцом как внимание [Шюц, 2003: 6], интерес к жизни [Шюц, 2003: 17]:

«Зал не был полностью заполнен, возможно, даже меньше чем наполовину. В основном присутствовали молодые люди — парни и девушки. В углу зала расположились взрослые с детьми. Визуально и прихожане, и выходящие на сцену зала служители и пасторы церкви напоминали мне самых обычных горожан. За время моего пребывания на службах в церкви я стала подмечать, что служители церкви в своем стиле стремятся воспроизвести образ успешного и современного человека. Это выражалось и в модных костюмах пасторов, и в трендовых образах из социальных сетей, которые примеряли на себя молодые прихожанки. Так и сегодня: группа прославления исполняла молитвы в привычной

⁶ Авторство данного раздела принадлежит Володину Д. М.



для меня повседневной одежде — белых футболках и джинсах» (Запись из дневника наблюдений, 21.10.2022).

Исследователю в начале его вхождения в поле может показаться, что ритуальные практики не имеют строгого расписания. Например, глоссолалии подразумевают достаточно индивидуальное воспроизводство телесности, не имеющее какой-либо строгой предписанной регламентации движений и речевых конструкций. Тем не менее в хронологии повседневного богослужения момент глоссолалий регулируется пастором, который задает тон молитвенному служению. Со стороны же может показаться, что достижение этого состояния возникает непредсказуемо и зависит от общения верующего со Святым Духом:

«Одна из женщин-пасторов молитвы начинает говорить на иных языках: „Давайте помолимся на языках, кто молится ... Дух Святой, твой поток наполняет меня“. Пожилая прихожанка рядом со мной в какой-то момент становится на колени и начинает молиться, повторяя за пастором слова как мантру либо просто говоря что-то и воздевая сложенные в молитвенном жесте руки» (Запись из дневника наблюдений, 19.12.2022).

Пример глоссолалий показывает не только неочевидность регулируемости ритуалов, но и индивидуалистическую ориентацию церкви, выражающуюся как в специфике религиозных практик прихожан, так и в организации пастором процесса богослужения в неопятидесятнической церкви. Так, ключевой принцип неопятидесятников заключен в принимаемой ими молитве покаяния: для духовного спасения достаточно принять веру в жертву Иисуса Христа, которая освобождает людей от грехов и способствует преобразению образа жизни (рождение свыше).

В действительности же понимание того, как должно достигаться это преобразование, может быть затруднено. Чтобы решить эту проблему, церковь предлагает верующему множество дополнительных услуг (например, бесплатные курсы, семинары, на которых неопит знакомится с устройством церкви и с основными положениями вероучения), которые будут помогать в индивидуальном духовном пути. Но верующий должен самостоятельно выстраивать отношения с Богом как на уровне телесных практик, так и на уровне рефлексии собственных духовных переживаний:

«Лизу расстраивает ситуация с внезапным заездом в одну из комнат нового соседа. Она относительно недавно заехала в одну из комнат и не была предупреждена о перспективе "сожительства" с мужчиной. Решение проблемной ситуации находится спустя час: Лиза вдруг начинает рассуждать, что, возможно, это ее испытание, шанс евангелизировать новых людей, которые сейчас живут во грехе. Она вспоминает пророчествование своего друга Стаса, сделанное для нее на днях,

и включает его голосовое сообщение с этим пророчеством. На записи я слышу голос мужчины, он говорит, что господь уготовил для Лизы „самый лучший из путей, о котором она даже не подозревает“» (Запись из дневника наблюдений, 06.07.2023).

Приведенная выше цитата показывает, как личное распознавание воли Бога прихожанкой церкви в случившейся с ней ситуации помогает найти новую позитивную интерпретацию. Это распознавание участия сверхъестественного актора выразилось через соотнесение двух изначально несвязанных событий: пророчества друга и внепланового соседства с незнакомым мужчиной. Точно так же индивидуализируется такая важная практика, как ощущение присутствия Святого Духа, которое никак не регламентировано. Не существует правил и предписаний, которые гарантируют верующему возможность встречи с ним, но именно эти переживания становятся референтом принадлежности к сообществу:

«Важной частью домашки стал момент обсуждения теста на дары Святого Духа: в одном из пособий для верующих был небольшой тест, результаты которого должны раскрыть для человека, к каким дарам он более расположен (исцеление, пророчествование...). Все отнеслись без иронии к идее, что тест с наводящими вопросами может дать какое-то лучшее понимание своего духовного развития» (Запись из дневника наблюдений, 25.07.2024).

Описанная выше ситуация выступает и примером рационализации веры. Но рациональная составляющая такой духовной практики не предполагает критичного отношения к ней. Наоборот, прохождение подобного теста показывает, что хоть вера информантов и облекается в форму измеряемого с помощью конкретного инструмента опыта, она продолжает лежать в основе их системы обозначения мира вокруг. Кажущаяся схожесть религиозных практик неопятидесятников со светскими в итоге позволяет увидеть границы их жизненного мира, которые выстраиваются через способы производства смыслов.

Для исследователя такие точки иллюзорной схожести — удобный ракурс наблюдения, где отчетливо проявляются границы жизненного мира религии. В его основе лежит интерпретация информантами происходящих событий через призму божественной воли. За отсутствием внешних маркеров и кажущейся светскостью ритуалов находятся символические маркеры принадлежности к сообществу — это разделение веры в Бога и выстраивание с ним отношений, которые способствуют личностному духовному росту.

В перечисленных выше ситуациях исследователь наблюдает кажущуюся схожесть и зыбкость границ между привычным светским миром и миром религии. Но дальнейшее критическое отношение к наблюдаемым практикам обнажает несовместимость рациональной системы интерпретаций действий



с системой интерпретаций информантов. Турбулентность в зоне наложения жизненных миров религии и науки возникает и в тех ситуациях, где когнитивные стили членов религиозной общины конфликтуют с жизненными ценностями, установками исследователя (собственного «я»):

«Завершился этот насыщенный вечер молитвой, ближе к одиннадцати. Андрей читал общую молитву „за нужды“ и перед началом предложил взяться всем за руки. Я оказалась включенной в круг молящихся. За руку я держала с одной стороны Андрея, с другой — Илью, и я мысленно желала, чтобы никаких гетеросексуальных преобразований в итоге не случилось» (Запись из дневника наблюдений, 06.04.2023).

Когнитивный стиль науки не предполагает негативного отношения к негетеросексуальной ориентации, в отличие от жизненного мира рассматриваемой общины неопятидесятников. В представленном примере критическое отношение представителя мира науки рассогласуется с позицией жизненного мира исследуемого сообщества. Критика, вызванная рассогласованием ценностей разных жизненных миров, способствует сохранению дистанции, балансу исследователя как субъекта на границе между полями науки и религии. Хотя реализация качественного исследования предполагает соблюдение этических норм и сохранение нейтралитета в отношении правил и ценностей исследуемого сообщества, но это в то же время не исключает критическую позицию исследователя.

С точки зрения теоретического анализа наиболее важным объектом изучения оказывается мир рабочих операций (практики) с точки зрения наложения двух специфических жизненных миров — мира социальной науки и мира религии. В случае с неопятидесятниками наложение мира религии и мира науки происходит за счет иллюзии отсутствия границ и конфликта когнитивных стилей. Впечатление о зыбкости границ сообщества возникает как за счет визуального сходства практик неопятидесятников со светскими, так и за счет индивидуализации религиозного опыта неопятидесятников: приоритетным оказывается духовный рост каждого отдельного верующего, а не всего коллектива общины. Такой индивидуализм порождает и более гибкие способы воплощения веры, что в свою очередь может создать мнимое впечатление об отсутствии четкой регламентации религиозного опыта.

При этом в жизненном мире неопятидесятников и специфике их когнитивного стиля обнаруживаются определенные непроницаемые области, что связано с разницей в интерпретации рабочих операций жизненного мира неопятидесятников (глоссолатии, свидетельства), а также с конфликтом когнитивных стилей мира науки и мира религии. Осознание этой непроницаемости и фиксация конфликта ведут исследователя к осмыслению границ иного жизненного мира рассматриваемого сообщества через сопоставление выявленных различий.

Заключение

В самом начале аналитической части мы поставили вопрос о том, как именно в ходе анализа исследуемый социальный феномен становится объектом рассмотрения с позиции мира науки и мира религии, теории и этнографической полевой работы. В ходе анализа дневников, фиксирующих исследовательскую повседневность, а также обыденные практики самой наблюдаемой группы — общины неопятидесятников Санкт-Петербурга, можно отметить следующее.

Предложенное нами в начале разведение позиций исследователя-полевого и исследователя-теоретика оказалось удачным способом дополнить эмпирический материал дневников новыми интерпретациями. Позиции исследователя-полевого и исследователя-теоретика в случае проектного социологического исследования могут различаться по возможностям описания собранных данных и аналитическим выводам. Так, если в первом случае результаты работы представлены как насыщенная деталями, эмоциями и событиями картина, возникающая из полевых наблюдений, то во втором более приоритетной задачей является обобщение результатов в понятиях теоретической рамки исследования и сведение результатов обоих подходов.

Если полевик в своем анализе фокусировался на эмоциональных переживаниях и вопросах религиозных воззрений, то теоретик — на концептуализации событий с помощью феноменологической рамки жизненных миров. Если ситуации расхождения проживались полевиком лично, то теоретиком моменты конфликта интерпретаций обобщались в виде теоретической проблемы, которая демонстрировала наложение и пересечение двух систем значений — мира науки и мира религии.

Феноменологическая оптика позволила обозначить рефлексивность исследователя относительно когнитивного стиля изучаемого поля, а также гибкость выстраиваемой с полем дистанции. Важным моментом анализа стало не столько преодоление различий между жизненными мирами, сколько сопоставление противоречий и конфликта интерпретаций. Расхождения интерпретаций, возникающие при столкновении исследовательского рационализма с миропониманием неопятидесятников, выступили как условие для маркировки границ исследовательской субъектности. Сохранение же дистанции как осознание конфликта, расхождения, сближения позиций, как личная рефлексия (исследователь-полевик) и как теоретизация (исследователь-теоретик) позволили зафиксировать точки наложения и несовпадения миров.

Литература / References

Галкин К. А. Ограниченное пространство: город в период пандемии в представлениях пожилых людей // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2021. Т. 13. № 2. С. 27–40. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2021.13.2.2> EDN: FQDPVM

Galkin K. A. (2021) Limited Space: Elderly People's Meanings of the City in the Time of Pandemic. *Interakciya. Intervyu. Interpretaciya* [Interaction. Interview. Interpretation]. Vol. 13. No. 2. P. 27–40. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2021.13.2.2>

Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта. М.: Институт социологии РАН, 2003.



Goffman E. (2003) *Analiz frejmov: esse ob organizacii povsednevnogo opyta* [Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience]. Moscow: Institut sociologii RAN. (In Russ.)

Гудова Е. А. О «травме методом» и эмоциональной работе полевого исследователя // Социология: методология, методы, математическое моделирование (Социология:4М). 2019. № 48. С. 58–82. EDN: [EFPAP](#)

Gudova E. A. (2019) On “Trauma by Method” and Fieldworker’s Emotional Work. *Sociologiya: metodologiya, metody, matematicheskoe modelirovanie (Sociologiya:4M)* [Sociology: Methodology, Methods, Mathematical Modeling (Sociology: 4M)]. No. 48. P. 58–82. (In Russ.)

Клюева В. П., Поплавский Р. О., Бобров И. В. Пятидесятники в Югре (на примере общин РО ЦХВЕ ХМАО). СПб.: Издательство РХГА, 2013.

Klyueva V. P., Poplavsky R. O., Bobrov I. V. (2013) *Pyatidesyatniki v Yugre (na primere obshchin RO CHVE HMAO)* [Pentecostals in Yugra (on the Example of the Communities of the RO CCEF of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug — Ugra)]. St. Petersburg: Izdatelstvo RHGA. (In Russ.)

Кормина Ж. В. «Гигиена сердца»: дисциплина и вера «заново рожденных» харизматических христиан // Антропологический форум. СПб.: Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, 2013. № 18. С. 300–320. EDN: [RDTBLN](#)

Kormina J. V. (2013) “Gigiena serdca”: disciplina i vera “zanovo rozhdenykh” harizmaticheskikh hristian [Heart Hygiene: Discipline and Faith of the “Born-Again” Charismatic Christians]. In: *Antropologicheskij forum* [Forum for Anthropology and Culture]. St. Petersburg: Muzej antropologii i etnografii im. Petra Velikogo (Kunstkamera) RAN. No. 18. P. 300–320. (In Russ.)

Панченко А. А. «Священный театр», тонкости морали и обряды перехода: антропология глобального христианства в современной России // Антропологический форум. СПб.: Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, 2013. № 18. С. 215–222. EDN: [RDTBJZ](#)

Panchenko A. A. (2013) «Svyashchennyj teatr», tonkosti morali i obryady perekhoda: antropologiya globalnogo hristianstva v sovremennoj Rossii [“Sacred Theatre”, Moral Issues, and the Rites of Passage: The Anthropology of Global Christianity in Present Day Russia]. In: *Antropologicheskij forum* [Forum for Anthropology and Culture]. St. Petersburg: Muzej antropologii i etnografii im. Petra Velikogo (Kunstkamera) RAN. No. 18. P. 215–222. (In Russ.)

Поплавский Р. О., Клюева В. П. «Как только я переродился...» конверсия и рассказы о ней в пятидесятнической традиции: структура и функции // Международный журнал исследований культуры. 2013. Т. 10. № 1. С. 35–41. EDN: [RTALWZ](#)

Poplavsky R. O., Klyueva V. P. (2013) Once I was Born Again. Conversion and Stories about the Pentecostal Tradition: Structure and Functions. *Mezhdunarodnyj zhurnal issledovanij kul'tury* [International Journal of Cultural Studies]. Vol. 10. No. 1. P. 35–41. (In Russ.)

Ситников А. Подход к анализу религиозной реальности в социальной феноменологии Альфреда Шюца // Социологическое обозрение. 2019. Т. 18. № 3. С. 309–327. DOI: <https://doi.org/10.17323/1728-192x-2019-3-309-327> EDN: [BXMKRA](#)

Sitnikov A. (2019) An Approach to the Analysis of Religious Reality in the Social Phenomenology of Alfred Schutz. *Sociologicheskoe obozrenie* [Russian Sociological Review]. Vol. 18. No. 3. P. 309–327. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.17323/1728-192x-2019-3-309-327>

Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техники. М.: Эдиториал УРСС, 2001.

Strauss A., Corbin J. (2001) *Osnovy kachestvennogo issledovaniya: obosnovannaya teoriya, procedury i tekhniki* [Basics of Qualitative Research: Grounded Theory, Procedures, and Techniques]. Moscow: Editorial URSS. (In Russ.)

Форум: От поля к тексту // Антропологический форум / Под ред. А. Байбурина. СПб.: Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, 2018. № 36. С. 11–114. DOI: <https://doi.org/10.31250/1815-8870-2018-14-36-11-114> EDN: [XQVTGP](#)

Vajburin A. (ed.) (2018) Forum: Ot polya k tekstu [Forum: From Fieldwork to Written Text]. *Antropologicheskij forum* [Forum for Anthropology and Culture]. St. Petersburg: Muzej antropologii i etnografii

im. Petra Velikogo (Kunstkamera) RAN. No. 36. P. 11–114. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.31250/1815-8870-2018-14-36-11-114>

Хаховская Л. Н. Полевые этнографические исследования как личный опыт (на материале дневников женщин-исследовательниц) // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2021. Т. 55. № 1. С. 62–72. DOI: <https://doi.org/10.24866/1997-2857/2021-1/62-72> EDN: PHWQKF

Khakhovskaya L. N. (2021) Fieldwork as a Personal Experience: Analyzing Women's Fieldworks Diaries. *Gumanitarnye issledovaniya v Vostochnoj Sibiri i na Dalnem Vostoke* [Humanities Research in the Russian Far East]. Vol. 55. No. 1. P. 62–72. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.24866/1997-2857/2021-1/62-72>

Шюц А. О множественности реальностей // Социологическое обозрение. 2003. Т. 3. № 2. С. 3–34. EDN: TRRQVT

Schutz A. (2003) On Multiple Realities. *Sociologicheskoe obozrenie* [Russian Sociological Review]. Vol. 3. No. 2. P. 3–34. (In Russ.)

Campbell H. (2022) *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media*. Abingdon: Routledge.

Hammersley M., Atkinson P. (2019) *Ethnography: Principles in Practice*. London: Routledge.

Knibbe K., Versteeg P. (2008) Assessing Phenomenology in Anthropology: Lessons from the Study of Religion and Experience. *Critique of Anthropology*. Vol. 28. No. 1. P. 47–62. DOI: <https://doi.org/10.1177/0308275X07086557>

Meyer B. (2010) Pentecostalism and Globalization. In: A. Anderson (ed). *Studying Global Pentecostalism: Theories and Methods*. Los Angeles; London: University of California Press. P. 113–130. DOI: <https://doi.org/10.1525/california/9780520266612.003.0007>

Pula B. (2020) From Habitus to Pragma: A Phenomenological Critique of Bourdieu's Habitus. *Journal for the Theory of Social Behaviour*. Vol. 50. No. 3. P. 248–262. DOI: <https://doi.org/10.1111/jtsb.12231>

Robbins J. (2004) The Globalization of Pentecostal and Charismatic Christianity. *Annual Review of Anthropology*. Vol. 33. P. 117–143. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.32.061002.093421>

Tiainen T., Koivunen E. R. (2006) Exploring Forms of Triangulation to Facilitate Collaborative Research Practice: Reflections from a Multidisciplinary Research Group. *Journal of Research Practice*. Vol. 2. No. 2. P. 1–16.

Wignall R. (2016) "A Man after God's Own Heart": Charisma, Masculinity and Leadership at a Charismatic Church in Brighton and Hove, UK. *Religion*. Vol. 46. No. 3. P. 389–411. DOI: <https://doi.org/10.1080/0048721X.2016.1169452>

Сведения об авторах:

Балацюз Елизавета Сергеевна — младший научный сотрудник, Центр молодежных исследований, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург, Россия. **E-mail:** ebalatsyuk@hse.ru. **ORCID ID:** 0000-0002-1117-305X.

Володин Даниил Михайлович — стажер-исследователь, Лаборатория урбанистических исследований, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург, Россия. **E-mail:** ancienttneicna@gmail.com.

Статья поступила в редакцию: 12.05.2025

Принята к публикации: 13.07.2025

БАК 5.4.1.



The Permeable Boundaries of Research Subjectivity in the Religious Field

DOI: 10.19181/inter.2025.17.3.4

Elizaveta S. Balatsyuk HSE University, St. Petersburg, Russia
E-mail: ebalatsyuk@hse.ru

Daniil M. Volodin HSE University, St. Petersburg, Russia
E-mail: ancienttneicna@gmail.com

The article addresses the problem of delineating the boundaries of research subjectivity in the course of ethnographic work. Separating the roles of the researcher-as-fieldworker and the researcher-as-theorist is proposed as a methodological experiment that enables a deeper analysis of empirical material. As an empirical case, the authors draw on observation diaries collected during fieldwork in a neo-Pentecostal congregation in St. Petersburg. Based on theoretical analysis within a phenomenological approach, and through self-reflection on the positions of the researcher-as-fieldworker and the researcher-as-theorist, the study identifies the specificities of analyzing empirical data and of overlaying the lifeworld of everyday life (A. Schutz) onto the worlds of science and religion. It shows how the boundaries of research subjectivity are reassembled — how the researcher’s stance leads to the understanding and conceptualization of the community’s lifeworld through mental processes of rapprochement, conflict, or divergence with the lifeworld and position of respondents (neo-Pentecostals).

An important outcome of the study is the testing of a general framework for working with ethnographic field data, which is pertinent in the context of project-based science and interdisciplinary research.

Keywords: ethnography; researcher subjectivity; phenomenological approach; life-worlds

Authors Bio:

Elizaveta S. Balatsyuk — Junior Researcher, Center for Youth Studies, HSE University, St. Petersburg, Russia. **E-mail:** ebalatsyuk@hse.ru. **ORCID ID:** 0000-0002-1117-305X.

Daniil M. Volodin — Trainee-Researcher, Laboratory for Urban Studies, HSE University, St. Petersburg, Russia. **E-mail:** ancienttneicna@gmail.com.

Received: 12.05.2025

Accepted: 13.07.2025

ИНТЕР-энциклопедия качественных методов



DOI: 10.19181/inter.2025.17.3.5

EDN: CROIPV

Дневниковый метод в социологии¹

Ссылка для цитирования:

Моисеева А. А., Рождественская Е. Ю. Дневниковый метод в социологии // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2025. Т. 17. № 3. С. 96–111. <https://doi.org/10.19181/inter.2025.17.3.5>
EDN: CROIPV

For citation:

Moiseeva A. A., Rozhdestvenskaya E. Yu. (2025) Diary Method in Sociology. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 17. No. 3. P. 96–111. <https://doi.org/10.19181/inter.2025.17.3.5>



Моисеева Анастасия Алексеевна

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
Москва, Россия
E-mail: mn_0911@mail.ru



Рождественская Елена Юрьевна

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»;
Институт социологии ФНИСЦ РАН, Москва, Россия
E-mail: erozhdestvenskaya@hse.ru

Статья представляет дневниковый метод как актуальный инструмент качественного социологического исследования. Анализируются его теоретические основания, ключевые характеристики (регулярность, личностный характер, синхронность), эволюция от личных записей к научному инструменту, а также основные типы (незапрашиваемые и запрашиваемые дневники). Подробнее рассматриваются методологические аспекты применения запрашиваемых дневников: вариативность (временные/событийные,

¹ Исследование реализовано при поддержке факультета социальных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».



структурированность, носители), преимущества (близость к повседневному опыту, снижение ретроспективных искажений, доступ к рутинным практикам, адаптивность), ключевые вызовы (нагрузка на респондента, важность инструкций, этичность). Особое внимание уделяется дневникам времени как адекватному инструменту изучения временных затрат респондентов, например, родительского времени. В качестве иллюстрации комплексной стратегии использования дневникового метода в статье представлен проект ресоциализации матерей после декретного отпуска, сочетающий адаптированный цифровой дневник времени (через Telegram-бот) с нарративным и дневниковым интервью.

Ключевые слова: дневниковый метод; запрашиваемые дневники; дневники времени; родительское время; материнство

Введение

История дневников восходит к традиции «людей делать повторяющиеся, случайные и обычно личные записи о собственном опыте, наблюдениях, отношениях и истинных чувствах» [Iida et al., 2012: 277]. Потребность производить такие записи возникла только около семнадцатого века и затем начала быстро развиваться под влиянием различных социальноэкономических изменений, таких как развитие печатного дела, промышленная революция, распространение образования и грамотности, рост среднего класса [Huys, 2018]. Но изначально дневниковая практика была занятием привилегированным: человек не может писать, если у него нет средств, времени, чувства безопасности и уверенности в своей грамотности.

Оставляя дневниковое наследие, известные в науке и культуре, люди привлекают дополнительное внимание к своей личности и контексту деятельности. Получили широкое публичное признание филологов, историков, антропологов и прочих «Дневник Анны Франк», «Дневник писательницы» Вирджинии Вульф, «Блокадный дневник» Тани Савичевой, «Запретный дневник» Ольги Берггольц, дневник «Окаянные дни» Ивана Бунина, дневники 1910–1923 гг. Франца Кафки, «Дневник одного гения» Сальвадора Дали, дневники 1905–1947 гг. Михаила Пришвина, «Дневник» Юрия Нагибина, «Дневники» Джорджа Оруэлла, «Московский дневник» Вальтера Беньямина, «Сознание, прикованное к плоти: Дневники и записные книжки 1964–1980 гг.» Сьюзан Зонтаг, «Дневники» Энди Уорхола...

Дневник как культурный феномен подходит под определение общего зонтичного термина «эго-документы», то есть различные письменные свидетельства с выражено личностным характером [Деккер, Баггерман, 2019]. Сюда включают личные дневники, переписку, мемуары, автобиографии и другие свидетельства. Отличие дневника от других эго-документов — в его способности регулярно фиксировать интересующие нас явления в контексте окружающей действительности и в их временной протяженности. В сравнении

с ретроспективными формами (истории жизни, автобиографии), записи в дневнике создаются в момент актуального переживания «постоянно меняющегося настоящего» [Plummer, 2001: 48], а не постфактум. Энди Алашевски [Alaszewski, 2006], рассуждая об эволюции дневников, выделил определяющие их черты:

- 1) *регулярность*: дневник организован вокруг последовательности регулярных и датированных записей за определенный период времени;
- 2) *личный характер*: записи делает идентифицируемое лицо, которое контролирует доступ к дневнику во время его создания;
- 3) *синхронность*: записи делаются в то же самое время или достаточно близко ко времени, когда произошли события или действия, чтобы запись не была искажена особенностями воспоминания;
- 4) *фиксация*: записи фиксируют то, что человек считает *важным и уместным*, и могут включать события, действия, взаимодействия, мысли, впечатления и чувства [Alaszewski, 2006: 2].

В зависимости от мотивов автора дневника последний может принимать различные жанровые формы [Михеев, 2006], среди которых прежде всего — дневник-хроника в его классическом понимании, то есть личные записи автора, наблюдающего как бы со стороны и отмечающего разные события как одинаково важные. Дневник-фиксация имеет прикладной характер, чаще связанный с профессиональными интересами. Наконец, рефлексивный дневник представляет собой нерегулярные записи, поводом для которых обычно становятся особо значимые события. В то время как одни люди документируют свою повседневную жизнь исключительно для личных воспоминаний, для других эта практика носит изначально публичный характер.

Переходя от видов дневников к способам их изучения, следует обозначить их преимущество как источников личного происхождения: дневники открывают доступ к рассмотрению событий и переживаний в их естественном, спонтанном контексте, предоставляя скрытую информацию, дополняющую ту, которую можно получить с помощью более традиционных подходов. С помощью дневникового метода, например, появляется возможность проникнуть в повседневные рутинные практики респондентов, относительно которых часто трудно добиться рефлексии во время интервью [Kenten, 2010]. Другим преимуществом является снижение возможного влияния ретроспекции, что достигается путем минимизации количества времени, прошедшего между опытом и отчетом об этом опыте [Bolger et al., 2003; Unterhitzberger, Lawrence, 2022]. Также стоит отметить, что дневниковый метод — очень гибкий и универсальный инструмент, что открывает возможность его использования в сочетании с другими методами.

Что касается общих диспозиций дневниковых исследований, то в них дневник понимается как форма высказывания, чаще повествовательная, которая изначально укоренена в естественном языке [Kenten, 2010] и является социализированной формой выражения себя [Svačinová, 2022]. Это дает нам возможность говорить о большей власти респондента над материалом исследования, что порождает специфический исследовательский процесс, в котором информанты участвуют и в регистрации собственных действий,



и в размышлении над ними [Bartlett, Milligan, 2015]. В рамках феминистской исследовательской традиции подчеркивается, что такая партиципаторность и поддерживаемая субъектность открывают перспективу более чутких отношений между исследователем и участниками [McCombie et al., 2024].

Что касается истории научного анализа дневников, то он довольно быстро через запрос дневниковых методик стандартизации повседневности вписался в постпозитивистский подход, поскольку обещал относительно объективный формат изложения субъективного опыта [Huysers, 2018]. По мере развития методологической рефлексии в социальных науках анализ дневников как метод был подвергнут критике ввиду сомнения в том, что возможно объективное наблюдение за самим собой [Huysers, 2018]. Новый виток в практике дневникового метода возник после нарративного поворота в социальных науках, который позволил реактуализировать дневники в качестве повествовательных материалов для анализа и возродил ценность интроспекции [Huysers, 2018].

Лаури Хайерс отмечает, что современные тенденции в популярной культуре и дискурсе социальных и гуманитарных наук созвучны перспективам дневниковых исследований [Huysers, 2018]. Мы живем в эпоху «мгновенных снимков», где цифровые технологии и социальные сети породили взрыв интереса к текущему моменту, живому человеку и его повседневной жизни. Об этом новом технологически поддерживаемом фокусе свидетельствует популярность документирования наших мыслей, поведения и социальных связей. Электронные записи в социальных сетях и беспроводные устройства для отслеживания образа жизни породили цифровой нарциссизм и виртуальное «я» [Tanner et al., 2013]. Закрытый личный дневник как интимный друг, которому поверяли мысли и переживания, заменяется приветствуемым вторжением других, что становится культурной нормой.

Отдельным сюжетом, стимулирующим обращение к запрашиваемым дневникам, являются социальные вызовы, например, пандемия COVID-19. Параллельно в различных национальных контекстах были инициированы цифровые дневниковые проекты для документации уникального опыта изоляции (яркий пример этого — проект PubliCo в Швейцарии [Kaiser-Grolimund et al., 2024]).

Наконец, требования к методу дневников в науке стали строже, чем раньше, поскольку теперь появляется возможность исследовать микрофеномены, время реакции с точностью до миллисекунды. Спрос на доказательность, строгие процедуры и замеры данных позволяют минимизировать когнитивные искажения, в том числе преодолевать искажения памяти. Удивительно, но Лаури Хайерс добавляет к этим приметам времени в дневниковых записях еще один аспект, со ссылкой на Аллена Х. Орра, — контркультурное сопротивление как тенденцию «медленного знания» [Orr, 2002], что означает желание отступить назад, «переключить скорость», стать более созерцательным в эпистемологическом смысле. Старый добрый дневник может казаться желанным, если не ностальгическим средством для более целостного понимания себя и других.

Методологическая вариативность дневникового метода в социологии

Основным критерием классификации внутри дневникового метода является источник анализируемых данных. Так, дневники подразделяются на два основных типа: незапрашиваемые (unsolicited) и запрашиваемые (solicited). В социальных науках чаще используются последние, но сначала кратко опишем суть обоих.

Незапрашиваемые дневники создаются людьми без внешнего запроса или требования со стороны исследователя. Они часто применяются в исторических исследованиях, где служат своеобразной капсулой времени [Kaiser-Grolimund et al., 2024], преимущественно для их изучения используются качественные методы анализа в силу маленьких выборок. Стоит также отметить появление переходных форм — онлайн-блогов, которые возродили традиционную форму ведения дневника, что вновь актуализировало незапрашиваемые дневники как источник данных для социальных наук, хотя остается дискуссионным вопрос о степени их приватности в отличие от традиционного формата [Kaiser-Grolimund et al., 2024].

Что касается запрашиваемых дневников, они создаются специально для научных целей по специальным инструкциям исследователей. Запрашиваемые дневники позволяют получить более сфокусированные данные, под конкретные нужды исследователей [Kaiser-Grolimund et al., 2024; Kenten, 2010]. Для их анализа используются как качественные, так и количественные методы, это зависит от степени их структурированности и размера выборки. Конечно, запрашиваемые дневники написаны для аудитории/исследователя, что поднимает вопрос самоцензуры со стороны автора дневника. Помимо этого, формат дневника, предоставляющий больше времени для осмысления событий, может провоцировать не меньшую, а зачастую и большую самоцензуру, чем автобиографический рассказ в условиях интервью, где времени на размышления меньше. Кроме того, важно отметить, что запрашиваемые дневники можно считать результатом работы не только автора, но и исследователя, так как они создаются, следуя его конкретным структурированным запросам [Kenten, 2010].

Далее обсудим вариативные элементы внутри запрашиваемых дневников. Ключевым элементом здесь становятся временные аспекты [Iida et al., 2012], такие как: продолжительность сбора данных (например, 9 недель или 2 дня), частота ответов (например, каждые 10 минут) и длина записей (например, заполнение опросника может занимать по времени 10 минут или один час). Каждый из этих вопросов исследователю нужно решать заранее самостоятельно, варьируя как степень нагрузки на респондента, так и соотношение качества и количества получаемого материала [Herron et al., 2019].

Другим значимым элементом вариативности становятся критерии, по которым респонденты начинают (и продолжают) заполнение дневника [Iida et al., 2012; Bolger et al., 2003; Bartlett, Milligan, 2015]:

1. Временной (time-based) дневник — это формат, при котором участники сообщают о своем опыте в заранее обговоренные временные



интервалы. Он может включать фиксированные промежутки или более сложные временные схемы, как с подсказками, так и без них. Например, участники могут записывать свой опыт в конце дня или несколько раз за день фиксировать свою деятельность за каждые 10 минут, как это часто происходит в случае дневников времени.

2. Событийный (event-based) дневник предполагает, что участники общаются о своем опыте каждый раз, когда происходит определенное событие или наступает некоторый момент. Например, это может быть разговор с кем-то дольше 10 минут [Wheeler et al., 1983].
3. Также возможно использование дополнительных технических устройств. Например, устройства для замера пульса могут быть использованы в сочетании с опросами о стрессе [Iida et al., 2012], или участники могут получать специальные электронные письма в качестве напоминания [Rönkä et al., 2010]. Вариацией можно считать и метод выборки переживаний (ESM) [Csikszentmihalyi, Larson, 1987], где респонденту выдается сигнальное устройство, которое им сообщает о необходимости заполнить в какой-либо момент дневник.

Естественно, возможны и различные формы комбинаций этих трех основных форматов.

Степень структурированности дневника также является важным аспектом [Unterhitzenberger, Lawrence, 2022]. Дневники могут различаться по структуре: от строго формализованного количественного опроса, где респондент выбирает предзаданные исследователем действия для выбранного заранее временного интервала, до свободного ответа на открытые вопросы.

Носители дневников тоже могут быть различными. Бумажный вариант является наиболее привычной формой ведения дневника, что может облегчить когнитивную нагрузку на респондента, но в таком случае могут возникнуть проблемы с сохранением анонимности и передачей записей исследователю. В этом случае также довольно трудно проследить за правильностью понимания инструкций и качеством их выполнения со стороны респондента [Iida et al., 2012]. Эти сложности частично разрешаются в случае использования технологических форм дневников (с помощью телефонов, компьютеров и т. д.), которые сейчас наиболее распространены [Rönkä et al., 2010]. Помимо этого, довольно популярными становятся визуальные дневники и аудио-/видеозаписи, которые могут углубить наше понимание опыта респондентов за счет расширения модусов повествования, а также восполнить недостаток грамотности или проблемы с памятью у некоторых групп (например, детей) [Bartlett, Milligan, 2015]. Это особенно важно иметь в виду, учитывая, что текстовые дневники комфортны прежде всего для тех индивидов, которые с большей компетентностью используют письменную коммуникацию [Herron et al., 2019].

Ведение дневника может быть использовано в сочетании с другими, дополнительными методами для получения более полной информации [Unterhitzenberger, Lawrence, 2022; Bartlett, Milligan, 2015]. Наиболее распространенным форматом совмещения является метод «дневник — интервью» (the diary-interview method) [Bartlett, Milligan, 2015], который был впервые предложен Циммерманом

и Вайдером в 1977 году. Как следует из названия, этот метод сочетает два ключевых элемента: ведение дневника (в котором респонденты записывают свои действия, мысли или наблюдения, потенциально интересные для исследователя) и последующее интервью, подробное и зондирующее, в котором исследователь задает заранее подготовленные на основе дневника вопросы, чтобы уточнить и контекстуализировать записи [Zimmerman, Weider, 1977].

Могут быть реализованы и другие конфигурации, например, интервью может проводиться до заполнения дневника (для установления доверительных отношений между исследователем и респондентом, подробного объяснения инструкции и обозначения предварительной информации о респонденте), и сразу после [Unterhitzberger, Lawrence, 2022]. Сочетание дневника и последующего интервью снижает вероятность аналитически неверной интерпретации. Для тех участников, которым было некомфортно писать в стиле дневника, интервью о дневнике позволяет убедиться в том, что опыт, который им, возможно, было трудно передать посредством письменного слова, включен.

Несмотря на методологические преимущества дневникового метода, есть ряд вопросов, требующих осмысления исследователя. Во-первых, возникает необходимость составления подробных и однозначных инструкций для респондентов в силу того, что этот метод в большей степени саморегистрируемый. Строгие инструкции приводят к более сфокусированному материалу, потенциально более ценному для исследователя, но не стоит забывать, что респонденты могут подстраивать свой нарратив под озвученные требования, что может значительно повлиять на аутентичность данных. Поэтому важно, чтобы инструкции были четкими и понятными, но не слишком ограничивающими [Unterhitzberger, Lawrence, 2022]. В связи с этим особенно актуализируется задача проведения предварительного пилотажного исследования, которое поможет обнаружить неясности в формулировках, а также в целом проверить адекватность нагрузки на респондента [DeLongis et al., 1992].

Поскольку заполнение дневника характеризуется высокой степенью нагрузки на респондента в сравнении с другими методами [Unterhitzberger, Lawrence, 2022], необходимо заранее решить, как впоследствии работать с не полностью заполненными дневниками, а также как обрабатывать дневники с разной степенью вовлеченности, рефлексивности, интимности и с разной протяженностью. Важно учитывать, что до сих пор недостаточно известно о влиянии различных социальных, личностных и психологических характеристик на процесс заполнения дневника [Bolger et al., 2003]. Дополнительно часто разрабатываются техники для поддержания внимания и вовлеченности респондентов, при которых допускается материальная или нематериальная мотивация [Unterhitzberger, Lawrence, 2022]. В этом ключе постоянная возможность личного контакта с исследователем помогает установлению доверия и, соответственно, поддержанию мотивации, а также предоставляет дополнительные возможности наблюдения за производством дневникового материала [Herron et al., 2019].

Также существует ряд сложных этических вопросов, например, заполнение дневника может повысить рефлексивность респондентов по отношению



к теме исследования. В некоторых случаях ведение дневника может иметь терапевтический эффект относительно прожитых событий или помочь респондентам осознать позитивные стороны своей повседневности [DeLongis et al., 1992; Unterhitzenger, Lawrence, 2022]. Однако, данный опыт также может ретравматизировать — напомнить респондентам о негативных аспектах их жизни, указав на ее рутинность и негативные эмоции [Bartlett, Milligan, 2015].

Помимо этого, многие респонденты могут столкнуться с трудностями в процессе нарративизации из-за страха перед чистым листом или в целом недостаточностью опыта написания текстов [Renten et al., 2010; Bartlett, Milligan, 2015]. Полностью избавиться от этого давления невозможно, поскольку оно становится следствием того, что мы ищем в дневниках: вовлеченности и большей власти респондента над материалом. В качестве решения можно предложить использовать дополнительные формы повествования (например, аудио- или видеодневники).

Пример использования дневникового метода: ресоциализация матерей после декретного отпуска

В качестве иллюстрации возможностей дневникового метода, рассмотренных в обзоре, мы представляем стратегию анализа одного варианта запрашиваемого дневника в методологическом дизайне исследования темпоральности повседневности матерей, возвращающихся на работу после декретного отпуска². В фокусе интереса — конструирование новых практик и стратегий ресоциализации, перестройка идентичности в контексте распоряжения временем.

Кратко обозначая исходную проблемную ситуацию, отметим, что рождение ребенка и возвращение на работу после длительного декретного отпуска являются центральными моментами напряжения для женщин, прервавших свою трудовую биографию [Ladge, Greenberg, 2015]. В этой ситуации происходит значительная перестройка материнской идентичности. При этом на матерей возлагается основная ответственность за поиск баланса между работой, семьей и материнством [Кравченко, Мотеюнайте, 2008]. Для объективированного изучения повседневных практик работающих матерей дневниковый метод представляется наиболее оптимальным. Он позволяет избежать искажений ретроспекции и зафиксировать, как именно структурируется их день и перераспределяются временные обязательства. Существуют противоречивые данные о влиянии материнской занятости на перераспределение родительского времени [Zick, Bryant, 1996], что подчеркивает актуальность применения именно такого подхода. Разумеется, мы также запланировали нарративизацию/комментарий к зафиксированным затратам времени наших респонденток.

Для эмпирического изучения этих процессов ресоциализации, связанных с перестройкой идентичности и перераспределением временных обязательств,

² В принципе, здесь мог бы быть приведен любой исследовательский сюжет, связанный с актуально развертываемой темпоральностью социального опыта любого действующего субъекта.

требуется точная оценка бюджетов времени. Традиционно оценка родительских временных затрат осуществляется тремя основными способами: прямым наблюдением, стилизованными опросниками и дневниками времени [Monna, Gauthier, 2008]. Среди них дневниковый метод, требующий детальной фиксации всей деятельности за 24 часа с заданными интервалами (например, 10 минут) [Robinson, 2002], признается исследователями оптимальным. Его преимущества состоят в снижении влияния социальной желательности за счет фокусировки на последовательности записей относительно своей деятельности [Robinson, 2002], а также за счет реализации принципа «нулевой суммы» времени. К тому же дневниковый метод дает лучшее соотношение точности данных и стоимости сбора по сравнению с другими методами [Fedick et al., 2005]. В отличие от стилизованных опросников, склонных давать завышенные оценки [Sayer et al., 2004], он обеспечивает сопоставимость всех видов деятельности, так как учет полных 24 часов позволяет видеть их функциональную эквивалентность [Robinson, 2002].

Родительский труд сочетает физическую и ментальную активность [Mullan, 2006] и включает три компонента: деятельность (конкретные действия по заботе о ребенке), ответственность (постоянное беспокойство о благополучии ребенка) и ограничение (выбор между другими видами деятельности и заботой о ребенке, которую часто нужно приоритизировать) [Budig, Folbre, 2004]. Инструмент дневников времени практически не имеет возможности уловить два последних аспекта [Mullan, 2006], поэтому, дополняя дневники с помощью интервью, у нас появляется возможность увидеть родительский труд более объемно. Такой подход сочетает преимущества качественной методологии (реконструкция практик, восприятий и смыслов) с фокусом на бюджетах времени матерей. Мы адаптировали дневники времени (стандартно применяемые в больших статистических обследованиях) и дополнили их интервью. Далее описан каждый этап исследования.

1. Скрининговая анкета

Для обеспечения контекста интерпретации дневников времени и последующего нарративного интервью респонденты заполняют в Telegram-боте предварительную анкету, основанную на ключевых биографических точках, связанных с выходом из декретного отпуска.

2. Дневник времени

Респондентки заполняют два дневника времени: один относительно буднего дня, другой — выходного, поскольку распределение времени обычно сильно различается в зависимости от дня недели. День недели выбирается для каждой респондентки индивидуально, чтобы избежать искажений (например, заполнение дневника в менее загруженный день). Дневник заполняется через специально разработанный интерактивный Telegram-бот. Такой формат выбран для того, чтобы облегчить участницам исследования процедуру заполнения, интегрировав ее в привычную рутину. К тому же он предоставляет возможности для большей вариативности методологического дизайна.



Заполнение дневника в электронном формате может стать дополнительной трудностью для определенных групп людей (например, для пожилых), но поскольку наш объект — молодые женщины, это кажется преимуществом.

Ключевую роль в обеспечении качества данных играет интерактивная инструкция. Она разбита на несколько блоков с обязательным подтверждением ее понимания для сохранения когнитивной включенности респондента. Инструкция разъясняет стандарты ввода данных, правила гибкого выбора дней для заполнения дневника, содержит систему персонализированных напоминаний, также в ней приведены примеры. Для быстрого ознакомления у респондентов есть также краткая версия инструкции.

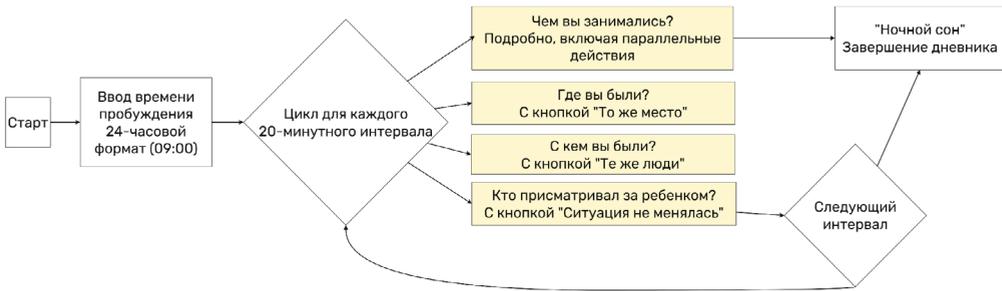


Рисунок 1. Алгоритм дневника времени

Наш дневник времени — полуструктурированный: женщины заполняют информацию о своей активности с момента пробуждения до момента отхода ко сну. Его алгоритм кратко визуализирован на рисунке 1. Дневник заполняется своими словами, а не с помощью выбора из уже predetermined списка действий, что дает большую свободу для концептуализации своего времени, в чем мы особенно заинтересованы в контексте родительского труда. Для минимизации ошибок памяти и снижения когнитивной нагрузки бот предлагает заполнять дневник в течение дня в 2–3 захода; дополнительно работает система напоминаний.

После завершения обоих дневников участницам задаются три открытых вопроса (можно ответить текстовым или аудио сообщением): о типичности описанного дня, о рефлексии после ведения дневника, о возможности обратной связи.

3. Интервьюирование

Последующий этап — интервьюирование — состоит из 2 частей: нарративного интервью [Рождественская, 2020] и дневникового интервью [Zimmerman, Weider, 1977; Unterhitzberger, Lawrence, 2022]. Такое разделение обусловлено как эпистемологическими различиями методов, так и необходимостью снизить временную нагрузку на участниц.

Гайд для нарративного интервью представляет собой хронологически и тематически структурированный инструмент, охватывающий ключевые

жизненные этапы: биографический бэкграунд, период непосредственно перед рождением ребенка, пребывание в декретном отпуске, выход из декрета и теперешнее положение респондентки. Методологически гайд основан на классической структуре нарративного интервью [Рождественская, 2020]. Каждый блок начинается с открытого вопроса, побуждающего к свободному рассказу о соответствующем периоде без интервенций интервьюера, что позволяет выявить субъективно значимые аспекты опыта и логику построения личной истории, после чего следуют уточняющие вопросы.

Сквозными аналитическими фокусами, пронизывающими все блоки, являются проявления нарративной идентичности (как женщина конструирует и осмысливает свой опыт), доступные ресурсы (внешние — поддержка семьи, партнера, государства, работодателя; внутренние — культурный, социальный капитал, эмоциональное благополучие и прочее) и темпоральные аспекты. Обязательным элементом каждого блока является пункт о распределении времени (описание типичного дня/недели), позволяющий конкретизировать практики совмещения ролей.

Гайд к дневниковому интервью строится на основе анализа уже заполненного участницей дневника времени. Он включает в себя обсуждение необычных или неожиданных записей, детализацию и прояснение записей, которые остались неясными для исследователя, а также выяснение внешнего контекста событий (обстановки, вовлеченных лиц, их действий). Особое внимание уделяется субъективным переживаниям и эмоциям информантки, связанным с описанными в дневнике ситуациями. Завершается интервью получением краткой обратной связи от участницы об ее опыте ведения дневника.

Заключение

Дневниковые исследования открывают уникальный взгляд на феноменологию индивида, фиксирующего «постоянно меняющееся настоящее» [Allport, 1942: 95]. Однако в методической литературе отмечается, что это настоящее сохраняет относительную стабильность во времени, формируя определенную структуру, в которой дневниковые повествования размещаются, конструируются и понимаются [Kenten, 2010]. Сохраняя приверженность качественной парадигме, современный дневниковый метод имеет тенденцию, с одной стороны, совершенствовать доказательные процедуры сбора данных, приближая его к стандарту объективированных данных, с другой стороны, удерживать фокус исследования на феноменологии, ценном субъективном взгляде респондентов. Комбинированное использование дневника с последующим интервью позволяет глубже исследовать смыслы, вкладываемые в социальные действия, контекстуализировать и обсуждать записанное в дневнике, реконструируя субъективно значимые процессы.

Тем не менее по-прежнему важны и востребованы спонтанные повествовательные рефлексивные дневники, которые содержат автобиографические



размышления о жизненном мире автора с точки зрения самого автора (незапрашиваемые дневники). В отличие от них, запрашиваемые дневники заполняются согласно заказу и запросам исследователя, нуждаются в инструктивном сопровождении, а также требуют сопоставимости с данными других дневников на ту же тему (например, при работе с коллекцией дневников), поэтому и появляется нужда в дополнительном нарративе для прояснения субъективных смыслов. При этом коммуникативное сопровождение со стороны исследователя состоит из нескольких интервенций: до заполнения дневника (инструкции, этические разрешительные протоколы), во время заполнения в режиме отслеживания заполнения (онлайн и офлайн), а также постинтервьюирование относительно субъективно понимаемых смыслов.

Различие спонтанных и инициированных исследователем дневников — в глубине понимания и контекстуального прояснения происходящего. С формой дневника возможно экспериментировать, используя мультимедальности текста — рукописный дневник, электронный, визуальный, аудиодневник или их комбинации. С точки зрения содержания дневник — это захват широкого спектра событий, практик и переживаний, ценность при их описании в данном случае состоит в субъективности первичной инстанции, в личности автора или владельца дневника, обладающего «силой непосредственного личного свидетеля» [Hyers, 2018: 27]. Как автор дневника, он обладает чувствительностью к определенной теме и темпоральной вовлеченностью в нее в течение длительного периода времени, что делает дневниковые наблюдения ценными, демонстрируя меру субъективной переработки событий. Другая важная особенность дневников, используемых в исследовании, — «плотные описания», по К. Гирцу, как погружение событий и опыта в более широкий социально-культурный контекст, что обеспечивает контекстуализацию данных.

В то же время дневники, в первую очередь, спонтанные, как потенциальный материал для анализа имеют ограничения. К ним можно отнести незавершенность, обрывочность, необходимость дискурсивной обработки, плавающую документальность, ограничение референтной группой, необходимость принятия во внимание субъективной позиции, непроясненность контекстных данных. И все же дневниковый метод привносит теоретическую и методологическую гибкость при решении исследовательских задач и генерировании новых идей, что позволяет преодолевать потенциальную предвзятость ретроспекции, часто встречающуюся в традиционных качественных методах, таких как интервью.

Литература / References

- Артемов В. А., Новохацкая О. В. Эмпирические исследования затрат времени в СССР (1920–1930-е гг.) // Социологические исследования. 2008. № 4. С. 92–194. EDN: IQFQNB
- Artemov V. A., Novokhatskaya O. V. (2008) Empirical Studies of time Expenditures in the USSR, 1920–1930th. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 4. P. 92–194. (In Russ.)

Деккер Р., Баггерман А. Жак Прессер и традиция еврейской автобиографии в Нидерландах // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2019. № 2. С. 238–256. EDN: [LXDGJS](#)

Dekker R., Baggerman A. (2019) Jacques Presser and the Tradition of Jewish Autobiography in the Netherlands. *Neprikosnovennyi zapas. Debaty o politike i kulture*. [Untouchable Reserve. Debates on Politics and Culture]. No. 2. P. 238–256. (In Russ.)

Караханова Т. М., Большакова О. А. Бюджет времени рабочих как отражение их реального поведения в повседневной жизни (1965–2014 гг.) // Вестник Института социологии. 2016. Т. 7. № 3. С. 70–96. EDN: [WXBKUX](#) DOI: <https://doi.org/10.19181/vis.2016.18.3.413>

Karakhanova T. M., Bolshakova O. A. (2016) Laborers Time Budget as a Reflection of Their Actual Behavior in Everyday Life. *Vestnik Instituta sotsiologii* [Bulletin of the Institute of Sociology]. Vol. 7. No. 3. P. 70–96. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.19181/vis.2016.18.3.413>

Кравченко Ж. В., Мотеюнайте А. Женщины и мужчины на работе и дома: гендерное разделение труда в России и Швеции // Журнал исследований социальной политики. 2008. Т. 6. № 2. С. 177–200. EDN: [IUIDIA](#)

Kravchenko Zh. V., Moteyunaite A. (2008) Women and Men in Employment and at Home: Gendered Work Patterns in Russia and Sweden. *Zhurnal issledovaniy sotsialnoi politiki* [The Journal of Social Policy Studies]. Vol. 6. No. 2. P. 177–200. (In Russ.)

Мухеев М. Ю. Дневник в России XIX–XX века — эго-текст или пред-текст. М.: Водолей Publishers, 2006.

Mikheev M. Yu. (2006) *Dnevnik v Rossii XIX–XX veka — ego-tekst ili pred-tekst* [Diary in Russia in the 19–20th Century: Ego-Text or Pre-Text]. Moscow: Vodoley Publishers. (In Russ.)

Рождественская Е. Ю. ИНТЕР-энциклопедия: нарративное интервью // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2020. Т. 12. № 4. С. 114–127. DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2020.12.4.8>

Rozhdestvenskaya E. Yu. (2020) INTER-Encyclopedia: Narrative Interview. *Interaktsiya. Intervyu. Interpretatsiya* [Interaction. Interview. Interpretation]. Vol. 12. No 4. P. 114–127. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.19181/inter.2020.12.4.8>

Alaszewski A. (2006) *Using Diaries for Social Research*. Thousand Oaks; London; New Delhi: Sage. DOI: <https://doi.org/10.4135/9780857020215>

Allport G. (1942) *The Use of Personal Documents in Psychological Science*. New York: Social Science Research Council.

Bartlett R., Milligan C. (2015) *What is Diary Method?* London; New Delhi; New York; Sydney: Bloomsbury Academic.

Bolger N., Davis A., Rafaeli E. (2003) Diary Methods: Capturing Life as It Is Lived. *Annual Review of Psychology*. Vol. 54. P. 579–616. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.54.101601.145030>

Budig M. J., Folbre N. (2004) Activity, Proximity, or Responsibility? Measuring Parental Childcare Time. In: *Family Time: The Social Organization of Care*. New York: Routledge. P. 51–68.

Csikszentmihalyi M., Larson R. (1987) Validity and Reliability of the Experience-Sampling Method. *The Journal of Nervous and Mental Disease*. Vol. 175. No. 9. P. 526–536. DOI: <https://doi.org/10.1097/00005053-198709000-00004>

DeLongis A., Hemphill K. J., Lehman D. R. (1992) A Structured Diary Methodology for the Study of Daily Events. In: *Methodological Issues in Applied Social Psychology. Social Psychological Applications to Social Issues*. Boston: Springer US. P. 83–109. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2308-0_5

Fedick C. B., Pacholok S., Gauthier A. H. (2005) Methodological Issues in the Estimation of Parental Time — Analysis of Measures in a Canadian Time-Use Survey. *Electronic International Journal of Time Use Research*. Vol. 2. No. 1. P. 67–87. DOI: <http://dx.doi.org/10.13085/eJTUR.2.1.67-87>



Herron R., Rosenberg M.W., Skinner M.W. (2019) Using a Flexible Diary Method Rigorously and Sensitively with Family Carers. *Qualitative Health Research*. Vol. 29. No. 7. P. 1004–1015. DOI: <https://doi.org/10.1177/1049732318816081>

Hyers L.L. (2018) *Diary Methods: Understanding Qualitative Research*. New York: Oxford University Press. DOI: <https://doi.org/10.1093/oso/9780190256692.001.0001>

Iida M., Shrout P.E., Laurenceau J.-P., Bolger N. (2012) Using Diary Methods in Psychological Research. In: Cooper H. (ed.) *APA Handbook of Research Methods in Psychology, Vol. 1: Foundations, Planning, Measures, and Psychometrics*. Washington: American Psychological Association. P. 277–305. DOI: <https://doi.org/10.1037/13619-016>

Kaiser-Grolimund A., Sahu M., Mollel H., Merten S. (2024) Soliciting Diaries for “Real-Time” Insights Into the COVID-19 Pandemic: Methodological Reflections on Using Digital Technologies to Engage the Public. *International Journal of Public Health*. Vol. 69. P. 1–7. DOI: <https://doi.org/10.3389/ijph.2024.1606912>

Kenten C. (2010) Narrating Oneself: Reflections on the Use of Solicited Diaries with Diary Interviews. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*. Vol. 11. No. 2. P. 1–19. DOI: <https://doi.org/10.17169/fqs-11.2.1314>

Ladge J.J., Greenberg D.N. (2015) Becoming a Working Mother: Managing Identity and Efficacy Uncertainties during Resocialization. *Human Resource Management*. Vol. 54. No. 6. P. 977–998. DOI: <https://doi.org/10.1002/hrm.21651>

McCombie C., Dowling S., Larkin M., Begley T. (2024) Qualitative Diary Methods in Mental Health Research. *European Psychologist*. Vol. 29. No. 1. P. 3–16. DOI: <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000511>

Monna B., Gauthier A. H. (2008) A Review of the Literature on the Social and Economic Determinants of Parental Time. *Journal of Family and Economic Issues*. Vol. 29. P. 634–653. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10834-008-9121-z>

Mullan K. (2006) *Quantifying Parental Childcare in the United Kingdom*. Colchester: University of Essex.

Orr D.W. (2002) *The Nature of Design: Ecology, Culture, and Human Intention*. New York: Oxford University Press. DOI: <https://doi.org/10.1093/oso/9780195148558.001.0001>

Plummer K. (2001) *Documents of Life 2: An Invitation to a Critical Humanism*. London: Sage Publications.

Robinson J.P. (2002) The Time-Diary Method. In: *Time Use Research in the Social Sciences*. Boston: Springer. P. 47–89. DOI: https://doi.org/10.1007/0-306-47155-8_3

Rönkä A., Malinen K., Kinnunen U., Tolvanen A., Lämsä T. (2010) Capturing Daily Family Dynamics via Text Messages: Development of the Mobile Diary. *Community, Work & Family*. Vol. 13. No. 1. P. 5–21. DOI: <https://doi.org/10.1080/13668800902823581>

Sayer L.C., Bianchi S.M., Robinson J.P. (2004) Are Parents Investing Less in Children? Trends in Mothers’ and Fathers’ Time with Children. *American Journal of Sociology*. Vol. 110. No. 1. P. 1–43. DOI: <https://doi.org/10.1086/386270>

Svačinová I. (2022) Characterizing Reflective Diary Writing as an Argumentative Activity Type. *Informal Logic*. Vol. 42. No. 4. P. 705–747. DOI: <https://doi.org/10.22329/il.v42i4.6974>

Tanner C.E., Maher J.M., Fraser S.M. (2013) *Vanity: 21st Century Selves*. London: Palgrave Macmillan. DOI: <https://doi.org/10.1057/9781137308504>

Unterhitzberger C., Lawrence K. (2022) Diary Method in Project Studies. *Project Leadership and Society*. Vol. 3. P. 1–11. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.plas.2022.100054>

Wheeler L., Reis H., Nezlek J.B. (1983) Loneliness, Social Interaction, and Sex Roles. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 45. No. 4. P. 943–953. DOI: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.45.4.943>

Zick C.D., Bryant W.K. (1996) A New Look at Parents' Time Spent in Child Care: Primary and Secondary Time Use. *Social Science Research*. Vol. 25. No. 3. P. 260–280. DOI: <https://doi.org/10.1006/ssre.1996.0012>

Zimmerman D.H., Wieder D.L. (1977) The Diary: Diary-Interview Method. *Urban Life*. Vol. 5. No. 4. P. 479–498. DOI: <https://doi.org/10.1177/089124167700500406>

Сведения об авторах:

Моисеева Анастасия Алексеевна — магистрант, стажер-исследователь, Центр исследований современного детства, Институт образования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия. **E-mail:** mn_0911@mail.ru. **ORCID ID:** 0009-0001-9857-7398.

Рождественская Елена Юрьевна — доктор социологических наук, профессор кафедры анализа социальных институтов департамента социологии факультета социальных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; ведущий научный сотрудник, Институт социологии ФНИСЦ РАН, Москва, Россия. **E-mail:** erozhdestvenskaya@hse.ru. **РИНЦ Author ID:** 531642; **ORCID ID:** 0000-0001-6874-2404; **ResearcherID:** B-1687-2014.

Статья поступила в редакцию: 04.07.2025

Принята к публикации: 25.08.2025

BAK 5.4.1.

.....
Diary Method in Sociology³

DOI: 10.19181/inter.2025.17.3.5

Anastasiya A. Moiseeva HSE University, Moscow, Russia
 E-mail: mn_0911@mail.ru

Elena Yu. Rozhdestvenskaya HSE University; Institute of Sociology of FCTAS RAS,
 Moscow, Russia
 E-mail: erozhdestvenskaya@hse.ru

The article positions the diary method as a relevant tool for qualitative sociological research. It analyzes its theoretical foundations, key characteristics (regularity, personal nature, and synchronicity), evolution from personal records to a scientific instrument, and main types (unsolicited and solicited diaries). Methodological aspects of applying solicited diaries are examined in detail: their variations (time-based/event-based, degree of structure, media formats), advantages (proximity to lived experience, reduced recall bias, access to routines, flexibility) and challenges (respondent burden, instruction design, ethical considerations). Particular attention is given to time-use diaries as the optimal instrument for studying temporal expenditures, specifically parental time.

³ This research is supported by the Faculty of Social Sciences, HSE University.



As an illustrative application, a comprehensive methodology for studying the resocialization of mothers after maternity leave is proposed. This methodology combines an adapted digital time-use diary (via a Telegram bot) with narrative and diary interviews.

Keywords: diary method; solicited diaries; time-use diaries; parental time; motherhood

Authors Bio:

Anastasiya A. Moiseeva — Master Student, Trainee-Researcher, Centre for Modern Childhood Research, Institute of Education, HSE University, Moscow, Russia. **E-mail:** mn_0911@mail.ru. **ORCID ID:** 0009-0001-9857-7398.

Elena Yu. Rozhdestvenskaya — Doctor of Sociology, Professor, Department of Analysis of Social Institutions, School of Sociology, Faculty of Social Sciences, HSE University; Leading Researcher, Institute of Sociology of FCTAS RAS, Moscow, Russia. **E-mail:** erozhdestvenskaya@hse.ru. **RSCI Author ID:** 531642; **ORCID ID:** 0000-0001-6874-2404; **ResearcherID:** B-1687-2014.

Received: 04.07.2025

Accepted: 25.08.2025



Интеракция. Интервью. Интерпретация
СЕТЕВОЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
(ЭЛ № ФС 77-73688 от 14 сентября 2018 г.)

Учредители – Федеральный научно-исследовательский социологический центр
Российской академии наук
(117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 5);
Российское общество социологов
(117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 5);

Главный редактор:
Виктория Владимировна Семенова

Редакция:
Александрина Владимировна Ваньке
Елена Юрьевна Рождественская
Анна Владимировна Стрельникова
Ирина Наумовна Тартаковская

Технический редактор:
Ольга Николаевна Салангина

Компьютерная верстка:
Виталий Евгеньевич Кудымов

Корректор:
Анна Николаевна Кокарева

Журнал «Интеракция. Интервью. Интерпретация» включен в базу РИНЦ, перечень ВАК,
индексируется в международной базе данных RSCI.

Все права на опубликованные материалы принадлежат редакции и авторам.

Точка зрения авторов публикуемых материалов
не обязательно отражает точку зрения редакции.

Публикации журнала не могут быть воспроизведены
в любой форме без разрешения редакции.

Требования к оформлению рукописей и порядок подачи статей
изложены на официальном сайте журнала: www.inter.fnisc.ru

2025. Том 17. № 3. Дата выхода в свет 30.09.2025.

Адрес редакции: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 5, каб. 513
Тел.: +7 499 128-86-18; e-mail: inter.fnisc@gmail.com

Editorial office: Krzhizhanovskogo str., 24/35, korp. 5, 117218, Moscow, Russian Federation
Ph. +7 499 128-86-18; e-mail: inter.fnisc@gmail.com